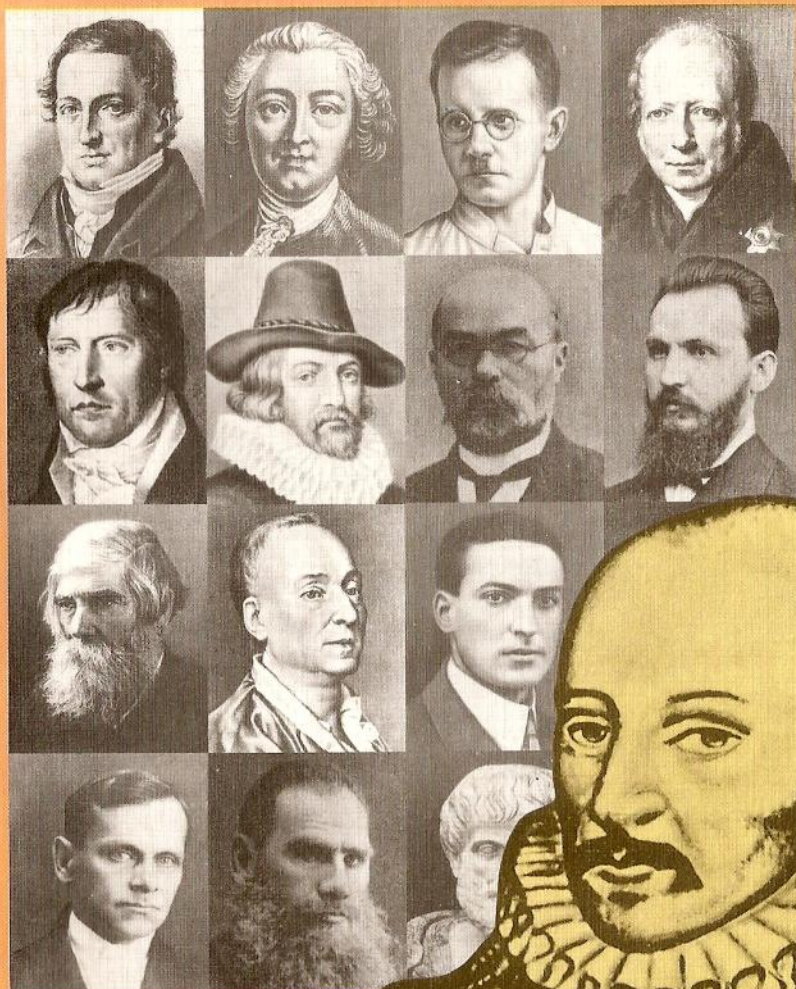
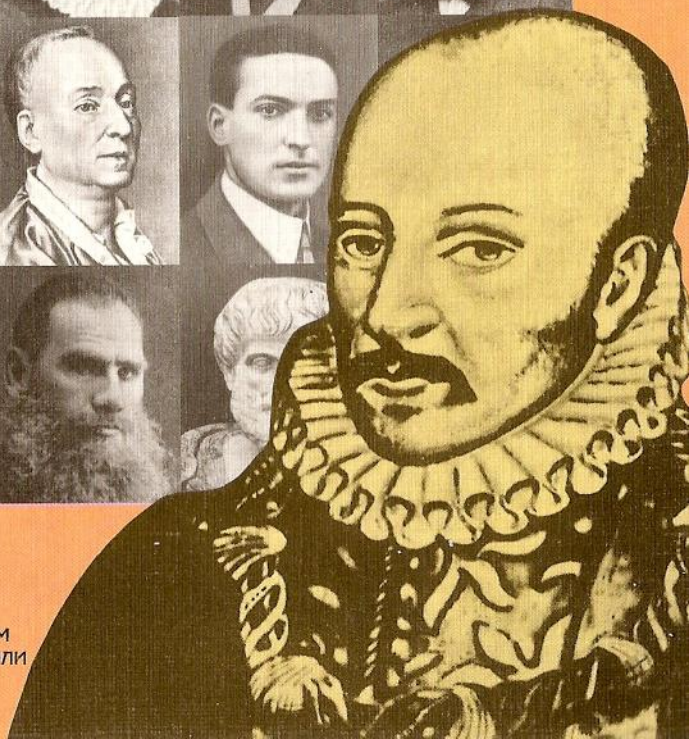


АНТОЛОГИЯ
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
МОНТЕНЬ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ



АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Амонашвили Ш.А. — глава Издательского Дома

Асмолов А.Г.

Бордовский Г.А.

Дарчия М.Д.

Загвязинский В.И.

Зуев Д.Д. — главный редактор

Кезина Л.П.

Матросов В.Л.

Неменский Б.М.

Ниорадзе В.Г.

Никандров Н.Д.

Петровский А.В.

Рябов В.В.

Сартания В.Ш.

Шадриков В.Д.



**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ
МОСКВА**

СОСТАВИТЕЛЬ И
АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ



**Бордовская
Нина
Валентиновна**
Доктор
педагогических
наук,
г. С.-Петербург



**Филатова
Светлана
Александровна**
Учитель,
г. С.-Петербург

**АНТОЛОГИЯ
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ**

МОНТЕНЬ



**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ**

**МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**МОСКВА
2001**

УДК 24.7
ББК 83.44
М49

«Федеральная программа
книгоиздания России»

Монтень. — М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2001. — с. 224 (Антология гуманной педагогики).

Мишель Монтень в мире известен больше как философ-гуманист. А между тем в своих знаменитых «Опытах», которым великий мыслитель посвятил долгие годы размышлений, анализа жизни человека вообще и самого себя в рамках образовательно-воспитательной традиции Франции позднего средневековья как гражданина, государственного и общественного деятеля, семьянина, супруга, отца и просто человека с его достижениями и проявлениями слабости, автор поднимает актуальные и поныне психолого-педагогические проблемы — как воспитать человека свободного, умного, духовно богатого и полезного для общества, с чувством собственного достоинства и глубокого уважения к людям. Призыв Монтеня со страниц Антологии к постоянному познанию своих возможностей, саморазвитию личности и духовному самосовершенствованию в течение всей жизни — это обращение, конечно же, Монтеня-педагога к молодому поколению. Вот почему предпринята попытка обратиться к «Опытам» Монтеня в психолого-педагогическом контексте проблем Человека.

МОНТЕНЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, ЕГО ПОЗНАНИИ И САМОПОЗНАНИИ, ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ. ОН НЕ УЧИТ, А РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ

В огромном потоке современной отечественной и зарубежной литературы, имеющей антропологическую направленность, преобладает систематизация, обобщение жизненного опыта многих людей и поколений или научное отражение сути Человека в форме теории или авторской концепции. Почему-то ушел в забвение такой жанр, как книга-размышление о себе как писателе, философе, педагоге, ученом, художнике, музыканте и просто человеке, о трудностях становления и развития характера, личности и формах творческой самореализации. Нам представляется, что результаты самопознания, саморефлексии и самоанализа известных представителей науки, культуры и просвещения, а не только политических деятелей, чаще всего издаваемых в нашей стране, обогатили бы «жизненно-педагогическую» копилку опыта ценностей развития и становления человека как уникальной личности.

Прекрасной страницей в истории мировой культуры и педагогической мысли стала эпоха, прошедшая под знаком гуманистических идей Возрождения, провозгласившая человека главной ценностью на земле. Ставя задачу возрождения греко-римской культуры и желая напитать ее достижениями позднесредневековую цивилизацию, гуманисты пытались осуществить синтез христианской веры и античной мудрости в той мере, в какой они видели в них схожие и даже совпадающие черты в отношении Человека. В центре нового мировоззрения средневековья оказался не только человек сам по себе, но и новые пути воспитания и образования, нацеленные на раскрытие в нем всего лучшего и обеспечение единства умственного, физического (телесного) и духовного развития личности. Идеальные представители этой эпохи сами являлись носителями такого идеала, будучи эталонами мудрости, духовности, образованности и нравственности.

Читателю предоставляется счастливая возможность погрузиться и открыть для себя М.Монтеня — ярчайшего представителя мировой гуманистической мысли.

Мишель Эйкем де Монтень родился 28 февраля 1533 г. Его отец, Пьер Эйкем, королевский офицер из купеческой семьи, побывав в Италии, проникся уважением к образованности и

культуре. Будучи сам далеким от искусства и литературы, имея скудный запас знаний, он решил сына своего вывести на дорогу новых идей, высокой образованности и культуры. Для этого уже были все предпосылки: достаточное состояние, накопленное предками-купцами, купленный замок Монтень в шестидесяти километрах от Бордо, давший право на дворянское имя. В результате Мишель Монтень получил прекрасное для своего времени домашнее образование.

Уже в годы раннего детства и юности Мишель общался в доме отца с людьми науки, наделенными благодатью мудрости и таланта, слушая их суждения и советы с почтительностью и священным трепетом. Именно по их совету Пьер Эйкем отправляет сына в крестьянский дом на воспитание со строгим предписанием не выделять его среди остальных, держать на равных с крестьянскими детьми, дабы с детства проникся он уважением к людям труда. Преданный идеям гуманизма, Пьер для обучения сына выписывает из Германии ученого-латиниста, не знавшего ни единого французского слова. С малых лет для Мишеля язык древних римлян стал родным, так как его наставник мог общаться с ним только на латинском языке. Отец, окружив сына атмосферой радостного мировосприятия, погрузив в античный мир, внушил ему глубокое уважение к гуманистическим принципам, к благородству и благонаравию.

От шести до тринадцати лет Монтень обучался в колледже г.Бордо, изучил право. И в семье и в колледже Мишель ощутил влияние гуманистических принципов обучения и воспитания, что в дальнейшем послужило основой его мировоззренческих взглядов на развитие и становление человека.

После окончания университета, в 21 год, Мишель начинает службу в юридическом корпусе, где в течение 16 лет исполняет обязанности судейского чиновника. В этот период его жизнь полна встреч и общения со многими крупными политическими деятелями Франции той эпохи, с королями Генрихом II, Франциском II, Карлом IX, Генрихом III, Генрихом IV. Из событий жизни Монтеня следует упомянуть поездку в Италию «на воды» для лечения, во время которой он получил аудиенцию папы Григория XIII и повидал русского посла (это был период царствования Ивана Грозного).

М.Монтеню выпало жить в эпоху, прошедшую под знаком религиозно-политических раздоров и безжалостных войн. Жизнь его интересна, богата событиями и испытаниями, волнениями и потрясениями, превратностями судьбы и путешествиями. В молодости он участвовал в нескольких военных походах. Двенадцать лет — с 1558 по 1570 г. — Монтень был советником парламента города Бордо. Не однажды посещал Париж и бывал при королевском дворе. Непростым для него был и период с 1582 по 1586 г., когда он был избран мэром Бордо. Будучи по натуре человеком свободным, независимым, имея неуступчивый характер,

Монтень с глубоким чувством долга и ответственности нес свой жребий. Органическое отвращение к насилию и стремление к созерцанию жизни, в какой-то мере даже к одиночеству сказывались в течение всей его жизни. Он тяготился обязанностями, всячески уклонялся от общественных дел. Однако, будучи человеком совестливым, патриотом и обладая чувством долга, никогда не отказывался, если общество и государство призывали его. Почетная, но беспокойная должность мэра заставила его употребить весь свой ум, такт и дипломатические способности на то, чтобы в условиях гражданской войны гасить конфликты и умерять страсти, не допуская кровавых расправ. На него сыпались неприятности с противоборствующих сторон — гибеллинов, гвельфов, протестантов и католиков. Не примкнув ни к одной из враждующих сторон, Монтень, естественно, навлекал на себя недовольство многих людей, бывал не раз обманут, ограблен, пережил пожар, чуму, смерть детей, а на склоне лет даже попал в качестве заложника в Бастилию. Но, несмотря на все жизненные тяготы, общественные и семейные заботы, потери родных и близких людей, Монтень много работал, размышлял, писал. Его ум не мог бездействовать.

В 37 лет, дождавшись окончания срока на посту мэра, Монтень облегченно сложил с себя эту обязанность, отказался от должности в бордоском парламенте и удалился в наследственное имение. Здесь, в замковой башне, он устроил библиотеку и предавался тем занятиям, которые по-настоящему его интересовали. Именно в эти годы ему удалось завершить работу над «Опытами», две первые книги которых он написал раньше. В 1580 г. его творения увидели свет. Но на посту мэра Монтень был вынужден прервать работу над своим сочинением, и лишь в 1586 г. он вновь к ней вернулся. Два года спустя было издано все произведение, состоявшее уже из трех книг. А еще через четыре года — 13 сентября 1592 г. — Мишеля Монтеня не стало. Он скончался в своем замке от каменнопочечной болезни, которая терзала его последние двадцать лет.

Деятельный господин мэр, государственный муж и сосредоточенно размышляющий, талантливый писатель и философ — главные ипостаси одного и того же Человека-Гуманиста.

Чтение Монтеня для одних — погружение в историю философии, для других — открытие сокровенных тайн и натуры самого автора, для третьих — почва и источник для размышлений о жизни, обществе, государстве, о человеке и самом себе, о пробуждающемся педагогическом самосознании. Современники Монтеня называли его французским Сократом, Шекспир перенес его мысли на театральные подмостки, а Гюстав Флобер писал: «Вы спрашиваете, какие книги читать? Читайте Монтеня, читайте медленно, не торопясь!.. Создайте для своей души такую интеллектуальную атмосферу, которая будет насыщена мыслью величайших умов».

Традиционно «Опыты» Монтеня относят к жанру философско-художественного произведения. Именно поэтому многие философы и писатели ссылаются на него, пытаются анализировать, сравнивать, комментировать, пояснять, полемизировать, защищать, оценивать великого мыслителя и гуманиста эпохи Возрождения. Число работ о Монтене приближается к трем с половиной тысячам. И в этом нет ничего удивительного, ведь «Опыты» будоражили и до сих пор будоражат философскую, художественную и педагогическую мысль.

Представитель гуманистической традиции, М.Монтень обращается к глубинным истокам развития и становления личности в процессе учения, воспитания и жизнедеятельности человека. Он верит в силу образования и воспитания через раскрытие неисчерпаемых человеческих возможностей. Поэтому не случайно одним из главных критериев оценки труда человека, результатов его учения и воспитания он видит в развитии личности. Воспитание, труд и ученье человека служат лишь одному: образовать его личность. Действительно, идея целостного развития человека, становления личности и проявления индивидуальности в образе жизни, в манере поведения и стиле деятельности проходит через весь текст «Опытов», находит особое, преимущественное положение и составляет главное достояние педагогического наследия М.Монтеня. По праву его можно считать одним из основоположников педагогической антропологии. Воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его надвое, утверждал М.Монтень.

Философы и психологи, «избороздившие» первые своей рефлексией и вторые — экспериментированием глубины человеческого «Я», давно обратили внимание на сложную и двойственную природу человека — несоответствие общепринятого стиля поведения мотивам отдельных поступков, образу жизни и ценностным ориентациям, преобладание бури эмоций над разумным решением проблемы. Замечательно, что Монтень не стремится преодолеть или затушевать эти противоречия, наоборот, он открыто выставляет их на всеобщее обозрение. Человек-суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо, поэтому нелегко составить о нем устойчивое и единообразное представление, — таков вывод его «Опытов».

М.Монтень остроумно и вместе с тем критично обличал пороки средневекового обучения и воспитания, призывая к развитию ума, души и тела ребенка. Он подчеркивал, что ребенок от рождения обладает первозданной чистотой, которую в дальнейшем «разъедает» общество. Полагая, что развитие склонности к самостоятельному мышлению и свободе духа в большей мере поможет ребенку стать достойным гражданином, полезным для общества человеком и свободной личностью, Монтень тем не менее скептически и даже с иронией относится к идее безграничности человеческого познания и всемогущества человека во Вселен-

ной. Он задает вопрос: «Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря, — что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам?» Примечательно, что, будучи сыном своей эпохи — средневековья, Монтень смело ставит под сомнение владычество человека над Вселенной, называя его «ничтожным» и «жалким» созданием, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, не в силах познать действительность, не то что повелевать ею!

Как мыслитель Монтень сформировался в эпоху позднего Возрождения, которое принято называть ренессансным гуманизмом. Однако, в отличие от традиции прославления человека, прославления его превосходства и преимущества над остальными в великом мироздании, Монтень погружает нас в жизнь этого человека, в процесс познания сути человеческой. Он приглашает читателя к поиску ответа на вопросы: каков же человек сам по себе? Чего он стоит?

Нам представляется, что, ставя во главу своих «Опытов» проблему человека, М.Монтень усиливает гуманистическое начало всех глав и книг, говорит ли он «о воспитании детей», «об искусстве беседы» или «о трех видах общения».

Самое удивительное, что, читая Мишеля Эйкема де Монтеня, не чувствуешь исторического и пространственно-временного разрыва эпох и культур. Познание мира и человека составляет для него проблему, причем суждение самого Монтеня никогда не бывает окончательным, бесспорным и однозначным. Он не решается сказать назидательного слова ни по одному вопросу или провозгласить истину в последней инстанции.

Хорошо ли это? Да! Монтень побуждает к размышлению и рефлексии. Он не предлагает доктрины или теории, претендующей на объяснение, он показывает жизнь человека со всеми ее противоречиями, оставляя незавершенным образ человека, что и стимулирует активность читателя. Этот образ формируется по мере погружения автора в самого себя, персонифицируясь, одновременно ввергая читателя в мир собственных сомнений, заставляя продвигаться на этом пути безостановочно и неустанно, «пока на свете хватит чернил и бумаги». Вот почему для нас автор предстает как живой собеседник и как предмет рассказа одновременно.

Монтеню чужды упрощенные представления и категоричные суждения, пишет ли он о назначении человека, смысле и образе его жизни в условиях разных стран и эпох, говорит ли о признаках мудрости или учености человека, рассказывает ли о родительской любви или воспитательной традиции разных стран и народов, рассуждает ли о цели познания и самопознания, о несовершенстве ума и развитии мышления, о закаливании души и

тела. Он отнюдь не склонен к однозначной оценке и назиданию, хотя и подвергает критическому анализу преобразования в этих сферах, проводимые во Франции в период жизни и деятельности его современников. Автор погружает читателя в огромный массив фактологических и исторических данных, расширяя сферу его ориентации в способах решения поднимаемой проблемы, приглашая к диалогу как с самим собой, так и с маститыми мудрецами древности.

Сформировавшись в лоне гуманистической традиции, Монтень анализирует многообразие разных точек зрения на человека, впитывая житейскую мудрость, откликаясь на позиции публицистов, писателей и поэтов, политических деятелей, военных, опираясь на древних философов — от Сократа и Платона до стоиков, эпикурейцев и скептиков. Никогда ни по одному вопросу он не вверяется какому-либо одному авторитетному мнению; особенность его повествования — в пересказе отдельных суждений по конкретному предмету как демонстрация энциклопедической образованности и широты ума автора.

Однако при первом прочтении «Опытов» может возникнуть впечатление хаоса и порой противоречивости приводимых точек зрения, а сам автор либо предстает приверженцем той или иной философской школы, либо выступает воплощением придрчивости и чрезмерного сомнения. На деле же при глубоком проникновении в «Опыты» понимаешь, что отношение Монтеня к чужим доктринам далеко не легковерно и безразлично. В конце концов все приводимые доводы и примеры служат для Монтеня фактурой и основой собственной позиции, предметом анализа, поэтому временами в тексте можно найти его откровения на этот счет. Он сам верит в то, что тот из мыслителей или ученых, кому он внимает в данный момент, всегда кажется самым правым. И действительно, все они правы по-своему, хотя могут и противоречить друг другу. Так развивается мысль от поколения к поколению в поиске неоднозначной сути сложнейших явлений природы или общества.

Именно через постановку и показ вариантов решения проблем, связанных с человеком в его культурном, социальном и пространственно-временном контексте жизни и деятельности, достаточно четко просматривается авторская позиция на проблемы образования и воспитания. Посмотрим, как же Монтень относился к процессу развития и становления молодого поколения.

Сегодня всеми принята важность воспитания человека во всем многообразии его жизни и деятельности. Поэтому для педагогов-воспитателей особый интерес представит отношение Монтеня к проблемам воспитания как фактору развития и становления личности. В центре его философско-антропологического произведения находятся размышления об авторитете воспитателя, об особенностях воспитания детей родителями, о важности школы общения для адаптации растущего человека к

жизни в обществе, о соотношении воспитания, обучения и развития и пр.

Большое значение в книгах уделено методам воспитательного воздействия на человека. Как говорит с мягкой иронией сам автор, обратимся к примерам — этому подспорью людей слабосильных. В частности, он приводит широкий спектр примеров из истории и событий жизни своих современников в доказательство влияния на человека силы убеждения и зависимости восприятия блага и зла от представления о них. Если убеждение достаточно глубоко воспринято, то может заставить людей отстаивать его даже ценой жизни. Жизнь людей многих поколений, в том числе и XX столетия, особенно в период Второй мировой войны, доказала важность этого утверждения, обращая внимание педагогов на воспитательный потенциал и мощь убеждения как метода воспитательного воздействия.

Монтень был также сторонником принципа природосообразности в воспитании и развитии человека. Это мы ощущаем при его размышлении о душе и силе действия ума на чувства и поведение человека, о судьбе человека и страхе смерти. Не употребим ли мы во вред себе способность разума, дарованную нам ради нашего вящего блага, — справедливо задается вопросом автор, — если будем применять ее наперекор целям природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе?

Разумеется, Монтень принадлежит своему времени, и поэтому видна мощь влияния христианства, с одной стороны, и преклонение перед авторитетом и мудростью древних, с другой, в отношении места и роли души. Он называет душу единственной и полновластной госпожой и нашего состояния, и нашего поведения. Однако оригинальность мыслей и суждений Монтеня проявляется прежде всего в том, что он стремится к познанию и раскрытию непостижимого в человеке, к поиску путей максимального согласования разумного и чувственного, духовного и телесного в человеке.

Мысль, что ни один человек в принципе не способен достичь совершенства, остающегося уделом рода человеческого в целом, проходит через все книги Монтеня. При этом очень важно увидеть, какую роль он отводит воспитанию и образованию, говоря, что, пожалуй, с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Именно потому многие суждения Монтеня, например: «Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас; нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему», или «Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады», или «Дело не в том, чтобы прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней», или «Где для детей польза, там же долж-

но быть и удовольствие», — для людей конца XX и начала XXI в. звучат из глубины веков как педагогические заповеди, полезные наставления в воспитании детей и юношества.

Продолжая анализ воспитательного воздействия на человека, автор справедливо замечает, что нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Для педагога важно выбрать моменты, в которых отражены жизненные наблюдения автора о негативном влиянии складывающихся и закрепляющихся привычек: привычка способствует притуплению наших чувств, наших суждений, она связывает нас и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удается избавиться от ее власти и вернуть себе независимость.

Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? — в этих вопросах отражены главные показатели, по которым судят об уровне образованности и воспитанности человека. Как часто мы и сегодня встречаем молодых людей и даже людей зрелого возраста, у которых душа с годами и опытом жизни не возвеличивается, а только «раздувается» и «разбухает» от важности занимаемой должности или имеющегося капитала, от осознания своей гениальности и неповторимости или от чувства сопричастности к великому или знаменитому человеку. Монтень прав: что толку от того, что мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными.

Тысячелетняя практика обучения и воспитания выдвигает ряд острых проблем, среди которых вечными остаются проблемы, связанные с развитием ума и одухотворенностью жизни и деятельности каждого гражданина планеты во имя прогресса цивилизации, сохранения человечества и процветания природы. Многогранный опыт такой работы постоянно вызывает у маститых мыслителей желание его анализировать или систематизировать. Нам представляется, что Монтень пошел по пути анализа и поддержки современных ему методов и приемов для того, чтобы подчеркнуть их практическую ценность, а не для того, чтобы «возвыситься над остальными». Ибо, как писал другой мудрец — Цицерон, мы должны не только копить мудрость, но и извлекать из нее пользу. Это одна сторона проблемы. Другую цель Монтеня мы видим в желании отразить парадоксы образования и воспитания. Как мало внимания уделяют им наши ученые и практики. А ведь именно такого рода противоречия пытается описать Монтень, например: «Наука — великолепное снадобье, и в то же время она не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать!» Или такой пример: «Натуры сильные и одаренные сохраняются во всей своей целостности, как бы ни коверкало их воспитание». Есть над чем подумать педагогам и психологам, ученым и практикам! Интересно, какие чувства и мысли у них возникают при чтении этих строк, написанных в XVI в., когда ни психология, ни педагогика как науки еще не имели своего статуса?

Сегодня открывают новые методы обучения, разрабатывают новые технологии и развивающие игры, вводят игровые ситуации на уроке, доказывают силу диалоговой формы педагогического взаимодействия в решении дидактических и воспитательных задач. Однако опыт воспитания детей у персов, например, описанный Монтенем на основе рассказа Ксенофонта, раскрывает нам древние истоки всех современных методов, приемов и форм организации обучения и воспитания как одной из важнейших задач государства, которую формулируют как то, что детям предстоит делать, когда они станут взрослыми. Неудивительно, что именно гражданское воспитание и обучение, выполняющее функцию подготовки человека к достойному выполнению обязанностей зрелой личности, приносило столь замечательные плоды у тех народов, которые правильно ориентировались в выборе образовательных целей и ценностей при воспитании. Хорошо бы всегда помнить, что подлинные ценности имеют прежде всего смысловую природу.

Известно, что ключевой фигурой развития образования является педагог и уровень и качество решения педагогических задач зависит прежде всего от самого педагога — от соотношения его педагогического мастерства, человеческих качеств и профессиональных умений, от способности быть наставником и помощником в пространстве отношений «учитель — ученик». Несомненно, прав Монтень, говоря о соразмерности в деле воспитания и образования, призывая педагога умерить себя, чтобы приспособиться к возможностям ученика. А это по силам лишь душе возвышенной и сильной! Вот почему сохраняется выходящее из глубины веков требование к современному педагогу найти и реализовать индивидуальный подход к каждому ребенку, учесть его способности и интересы, создать условия для самореализации его творческого потенциала. Идея о том, что обучение должно опережать развитие ребенка, сегодня подтвержденная специальными исследованиями ученых, просматривается в работе М. Монтеня. Для этого, с его точки зрения, учитель должен изложить ученику, чем отличаются те или иные учения, теории друг от друга, а он сам, если это будет ему по силам, сделает выбор или, по крайней мере, останется при сомнении. Нечто подобное мы можем найти в инновационном опыте российских учителей, которые накопили за последнее десятилетие богатейший опыт конструирования ситуаций выбора в образовательном процессе при решении задач развития личности своих учеников. Монтень же, как нам кажется, один из первых в мировой гуманистической культуре говорит о собственно творческом процессе перевода почерпнутых взглядов и мнений в собственное суждение при условии, что человек при этом проникается духом этих мыслителей или наставников. Обсуждая эту проблему, автор поясняет: пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не

вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние. Здравая мысль и ценная рекомендация учителю. Или вот другой пример. Сегодня доказано, что иностранный язык целесообразно изучать с раннего школьного возраста с учителями-носителями языка. В современных российских школах повсеместно введено изучение иностранного языка в начальной школе. Однако мало кто из психологов и педагогов знает, что именно Монтень заметил: если не приучить к иностранной речи свой язык смолоду, то потом уже никак ее не усвоить, описав уникальный опыт своего обучения латинскому языку начиная с первых лет жизни в домашних условиях.

Пожалуй, особую ценность для понимания сути и природы человеческого представляет пафос «самости». На каждой странице звучит призыв человека к выработке собственной позиции, свободе выбора, смелости и действиям сообразно складу характера, интересам и склонностям: каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он *сам* по этому поводу думает, истинным и существенным тут можно считать лишь *собственное* мнение данного человека. Сам автор высоко ценил способность человека к самопознанию и самосовершенствованию: для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания. Ориентируясь на этот тезис, Монтень предпочитал самостоятельно «ковать» свою душу, а не украшать ее заимствованным добром. Воистину прав мудрец, утверждая, что нет занятия более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая душа, ибо, чтобы правильно судить о венах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; и чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится.

Как заполнить душу высокими идеалами и ценностями? Монтень и на этот вопрос предлагает свое мнение: мудрецы всякий раз, когда им приходилось подвергать себя испытанию действием, поднимались на огромную высоту, и всякому делалось ясно, что их сердца и души возвысились и обогатились столь поразительным образом благодаря познанию сути вещей.

Пожалуй, самый главный объект анализа у Монтеня — собственное «Я». «Содержание моей книги — я сам», — заявляет автор уже в предисловии. Для него предмет изучения больше всего иного — это он сам, с его мыслями и чувствами, сомнениями и душевными переживаниями, интересами и привычками, болезнями и страданиями, радостями и утехами, оценками и рефлексией.

Монтень в ходе самоанализа и желания понять себя честно признается, что он не столько заботится о том, каков он в глазах других людей, сколько о том, каков он сам по себе. По сути книга его — это своего рода исповедь.

Признавая личность многоликой и неуловимой «химерой», пользу познания самого себя автор видит не столько в познании

истины о самом себе, сколько в желании понять свои чувства, намерения, поступки и действия, поскольку сама личность неумовима и постоянно изменчива. Монтень пишет: «Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно. Я не могу определить себя одним словом... В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и урюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность». Какая богатая палитра оттенков и проявлений характера! Так мог сказать о себе очень честный и искренний человек.

Мы видим, что автор в процессе познания самого себя открыто говорит о противоречивости человеческой природы, о смене чувств и настроений. Чем больше он себя познает, тем больше удивляется своей «бесформенности» и тем меньше понимает, что же такое «Я». Эта дихотомия — объективное явление в развитии психики человека, которое у каждого по-своему, но неизбежно влияет на цели действий и поступков. Ведь человек на протяжении всей своей скоротечной жизни меняется в зависимости от настроений, обстоятельств и возраста.

Следя за эволюцией и развитием педагогических идей, выдвигаемых Монтенем в «Опытах», читатель сам приобщается к миру откровений автора об этапах его воспитания и периодах жизни, особенностях образования в рамках греко-латинской традиции; о способах его общения с людьми на посту мэра, в кругу семьи, с самим собой; о требовании к учителю и воспитателю молодого поколения; о социальных нормах и ценностях, признаваемых личностью «своими» как внутренние усвоенных; о том, как постигать свои недостатки и преодолевать их и т.д.

Заслуга Монтеня-гуманиста состоит в психолого-этическом расширении педагогической антологии, поиске гармонии внешнего и внутреннего в процессе развития человека. Именно общечеловеческой тематике посвящены все книги его «Опытов».

Нами же предпринята попытка обострить ту часть опыта познания-самопознания человека, которая высвечивает формирование его образа и тех качеств, которые, по мнению Монтеня, необходимо воспитать в человеке, чтобы он достойно прожил свою жизнь. Своим замечательным эссе автор убеждает в возможности преодоления разрыва между процессами воспитания и познания человека, самопознания и самовоспитания, внутренней основой которых являются прежде всего морально-нравственные размышления и саморефлексия.

Проблемы учения, учености и познания постоянно находятся в центре внимания педагогов и психологов. Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию, — не устает повторять Монтень и высвечивает разные грани познания, мудрости и учености человека. Однако уже в те времена различали знания и ум,

и сам автор убежден в необходимости и того и другого, замечая, что знания ему представляются менее ценными, нежели ум. Тем самым он обращает внимание на потребность в развивающем характере обучения в противовес схоластическим и догматическим методам, столь популярным в практике школ его времени.

Монтеня не устраивали в образовательной практике неэффективные и устаревшие средневековые методы обучения. Принимая во внимание способ, которым обучали детей, он утверждает, что ни ученики, ни сами учителя не становились от этого мудрее, хотя и приобретали так называемую ученость, так как главной целью в практике школ было забить голову ученика всевозможными знаниями. Что до разума и добродетели, то о них почти и не помышляли. И здесь великий мудрец средневековья оказался провидцем, ставя очень актуальную психолого-педагогическую проблему и задавая вопрос, который мог бы быть в той или иной степени предназначен и для наших современников. Мы постоянно спрашиваем: знает ли такой-то человек греческий или латынь? Пишет ли он стихами или прозой? Но стал ли он от этого лучше и умнее, — что, конечно, самое главное, — этим мы интересуемся меньше всего. А между тем надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше. Здесь мы видим основы философского осмысления процесса обучения, которые затем оформляются в качестве известных сегодня концепций «прагматизма», «энциклопедизма», «классицизма», методов формального и реального образования, эвристики и наводящих вопросов, проблемного и исследовательского, адаптивного и когнитивного обучения.

Безусловно, главные методы обучения в школах любых эпох — это методы, развивающие ум, мышление, волю, чувства и непреходящие качества человека — честность, добронравие, гражданственность, ответственность и пр., имеющие ценность во все времена.

В книге «О воспитании детей» Монтень призывает педагогов к организации взаимодействия с детьми с тем, чтобы они не только говорили, рассуждали, поучая своих питомцев, но и внимательно слушали их, стимулировали к диалогу, творчеству, сотрудничеству и совместной деятельности. При этом он ссылается на опыт древних и великих Сократа и Аркесилая. Именно они сначала заставляли говорить учеников, а затем уже говорили сами. Еще до научно-теоретического осмысления проблем дидактики в трудах великого просветителя мы находим высокую оценку эвристического диалога учителя и ученика, получившего сегодня название сократовского метода обучения.

Несмотря на то, что сам Монтень был далек от дидактики, богатый жизненный опыт и серьезное погружение в проблемы развития и формирования человека позволили ему четко увидеть и сформулировать один из главнейших вопросов теории обучения — зачем и как обучают ребенка наукам.

По мнению Монтеня, ребенка обучают наукам, и воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка и не для того, чтобы были с ним приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, был обогатил и украсил себя изнутри. Он справедливо полагает, что добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености. Если «пройтись» по всем книгам Монтеня с целью отбора требований к работе педагога, то всю наиболее важную информацию можно представить в виде следующих рекомендаций:

- я не хочу, чтобы наставник один все решал и один говорил; я хочу, чтобы он также слушал питомца;

- учитель должен сначала заставлять говорить учеников, а затем уже говорить сам;

- важно суметь «снизойти» до влечений ребенка;

- педагог просвещает своих учеников, но не требует от них одинакового поведения;

- учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его;

- приучите не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь;

- судить о пользе знания надо не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни, ибо подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь;

- объясняя ученику что-либо, показывать ему это с сотни разных сторон и применять ко множеству различных предметов;

- проверять то, как понял ученик и в какой мере усвоил знание;

- заставлять ученика как бы просеивать через сито все, что ему преподносит учитель;

- ничего не вдавливать ребенку в голову, ибо кто рабски следует за другим, тот ничему не следует;

- преподавать юноше не столько знания исторических фактов, сколько умение судить о них;

- напитать ум ребенка в первую очередь рассуждениями должностными, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, научить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом;

- преподавать необходимо то путем собеседования, то с помощью книг, или просто указать автора, или самому изложить содержание и сущность книги в разжеванном виде;

- игры и упражнения должны быть неотъемлемой и довольно значительной частью обучения;

- обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью;

- откажитесь от насилия и принуждения, это уродует и извращает натуру с хорошими задатками;

- приучайте ученика к поту и холоду, ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать;

- отвадите питомца от изнеженности и разборчивости;
- пробудите охоту к занятиям;
- приспособливайте ученика к обычаям своего времени;
- научите его делать все без исключения, но любить делать только хорошее;

- научите юношу благоразумию в основе начинаний, справедливости и доброте в своем поведении, уму и изяществу в речах, стойкости в болезнях, скромности в забавах, умеренности в наслаждениях, неприхотливости в питье и пище, соблюдать порядок в своих домашних делах;

- безграничная власть учителя чревата опасными последствиями.

Вот что хотел видеть Монтень в учителе. Таковы необходимые задачи, правила, принципы и методы, полезные учителю любой эпохи и цивилизации. Но, как видно из текста, Монтень не формулирует принципы и не определяет методы обучения. Он приходит к ним из практики. Лишь при внимательном прочтении и глубоком проникновении в идеи всего произведения современный специалист, с его арсеналом знаний из дидактики, теории и методики воспитания, психологии и философии, может вычленил цели и задачи, средства и методы, формы и этапы процессов обучения и воспитания. Научный анализ и систематизация станут задачей последующих веков, миссией педагогов, выводящих педагогику на уровень научного осмысления и объяснения богатой и обширной практики обучения и воспитания человека.

Но и сегодня мы — педагоги — задаемся все тем же вопросом: почему у многих наших учеников разум и совесть остаются праздными? Почему они, натаскав из книг знаний, держат их на «кончиках губ», чтобы тотчас же освободиться от них? Как своевременно звучат слова Монтеня: «И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью».

Чрезвычайно интересны мысли автора о соотношении знания, разума и души. Ни в психологической, ни в педагогической литературе до сих пор нет ясного понимания природы и истоков столь важной и значимой взаимосвязи. Ссылаясь на греков, утверждавших: ни к чему наука, если нет разума, Монтень утверждает, что дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней; не в том, чтобы окропить ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь. Знания — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться. И в ходе рассуждений по данному вопросу автор заключает: «Однако тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука принесит лишь вред, добрые нравы и ум предпочтительнее голый учености». Вот уже многие сотни лет эта мысль с очевидностью подтверждается на практике. Именно в рамках рас-

смаатриваемой проблемы стало возможным прочтение Монтеня через глубокий анализ опыта освоения науки повиноваться и повелевать в Спарте, опыта воспитания старших сыновей царей древней Персии в духе доблести, благоразумия и справедливости.

Пожалуй, наиболее трудными для понимания остаются фрагменты, отражающие авторское осмысление проблемы соотношения духовности и человеческих качеств, в каком-то смысле противоречивости духа и разума в процессе развития и становления человека. Обыденному сознанию последнее представляется чем-то не слишком реальным, эфемерным. Вместе с тем отечественная философия богата описаниями духовности, теология — описаниям духа. В связи с глубоким интересом к этим явлениям педагогов и психологов есть надежда, что будет проводиться специальные исследования, позволяющие приоткрыть завесу тайны феномена духовности и процесса ее роста у современного человека. Пока лишь можно порассуждать и побеседовать на этот предмет, укрепляясь доверием к Монтеню и его «Опытам», либо вступить с ним в диалог.

«Опыты» Мишеля Монтеня представлены в данном издании в психолого-педагогическом контексте. Несмотря на то, что мыслитель обращается к достаточно широкому кругу проблем — о государстве, о законах, об обществе и традициях, о власти и управлении, в данном томе Антологии намеренно отобран и усилен психолого-педагогический аспект известных текстов Монтеня. Главная отличительная черта «Опытов» от произведений того периода, имеющих педагогическую направленность, — это превалирование практического жизненного начала над чистым рационализмом поучения и правоучения. Вместе с тем традиционно завершение суждений в главах ярким незабываем афоризмом, в котором концентрируется главная мысль автора как общее руководство для читателя. Их совокупность представляет самостоятельную ценность в понимании проблем познания и воспитания человека, поднятых автором «Опытов».

Все отобранные тексты из трех книг в данном сборнике имеют названия оригинала и даны в той же последовательности, что и у Монтеня:

книга 1 — «Различными средствами можно достичь одного и того же», «О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них», «О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы», «О педантизме», «О воспитании детей»;

книга 2 — «Об упражнении», «О родительской любви», «О книгах», «О жестокости», «О славе», «О самомнении», «Об изобличении во лжи»;

книга 3 — «О раскаянии», «О трех видах общения», «О стихах Вергилия», «Об искусстве беседы», «О суетности», «О том, что нужно владеть своей волей», «Об опыте».

В заключение сделана попытка выбрать наиболее интересные и полезные для педагогов и психологов, с точки зрения автора, афоризмы Монтеня из всех трех книг, которые представлены в отдельном последнем разделе — «Афоризмы и максимы М.Монтеня».

Мы надеемся, что данное издание будет иметь спрос и успех у читателя, так как сие собрание мыслей и суждений великого гуманиста М.Монтеня о проблемах обучения и воспитания человека, о важности его познания и самопознания весьма полезно студентам педагогических вузов и психологических факультетов университетов, преподавателям педагогики и психологии, специалистам в области истории педагогики, психологии и проблем образования, а также всем любителям и ценителям мировой педагогической культуры — старшеклассникам и их родителям.

Н.В. Бордовская

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Если мы оскорбили кого-нибудь и он, собираясь отмстить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своей покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский, тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиснь, человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, продвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью, одни сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней притупили острие его гнева, и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег, властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога Баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унижительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и

унося на себе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему и к его подданным.

На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем для стойков жалость есть чувство, достойное осуждения, они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались неколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида, согнувшегося под бременем обвинений и добивавшего помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда, красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший, взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий и захватив в нем вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и

водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов.

Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпей, даровавший пощаду всему городу мамертинцев, на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии, нисколько не помог этим ни себе ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усилий городом Газой, наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили, — крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: «Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна-единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твоё безмолвие, и если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хотя бы стоны». И, распаляясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за

нею живым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или, быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И, действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив, когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущим или умоляющим о пощаде: напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя таким путем почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отомстить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.

Глава 14

О ТОМ, ЧТО НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ БЛАГА И ЗЛА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ МЫ ИМЕЕМ О НИХ

Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них. И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение, и только наше воображение наделяет его подобными качествами, то не кто иной, как мы сами можем изменить их на другие. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни,

нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таким, или, по крайней мере, чем бы оно ни являлось, — что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все в конце концов сводится к этому.

Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает их по счастливой случайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча прочих видит в них совершенно иную, непохожую сущность.

Мы смотрим на смерть, нищету и страдание как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею из всех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни.

Есть даже такие, которые сожалеют о ее доступности для каждого:

*Mors utinam pavidos vita subducere nolles,
Sed virtus te sola daret*.*

Но не будем вспоминать людей прославленной доблести, вроде Теодора, который сказал Лисимаху, угрожавшему, что убьет его: «Ты свершишь в таком случае подвиг, посильный и шпанской мушке!» Большинство философов сами себе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее.

А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа, — кто из упрямства, а кто и по простоте душевной, — что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряже-

* О если бы, смерть, ты не отнимала жизни у трусов, о если бы одна доблесть дарила тебя (лат.). Лукан, IV, 580—581.

ния относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует идти этой улицей, так как он может встретиться с лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится шекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим Спасителем: «В таком случае отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынче пошусь». Четвертый пожелал пить и, так как палач пригубил первым, сказал, что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурною болезнью. Кто не слышал рассказа об одном пикардийце? Когда он уже стоял у подножия виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если он согласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь (ведь наше правосудие порою идет на это); взглянув на нее и заметив, что она припадает на одну ногу, он крикнул: «Валяй, надевай петлю! Она колченогая». Существует рассказ в таком же роде об одном датчанине, которому должны были отрубить голову. Стоя уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условиях лишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жены, были ввалившиеся щеки и чересчур острый нос. Один слуга из Тулузы, обвиненный в ереси, в доказательство правильности своей веры мог сослаться только на то, что такова вера его господина, молодого студента, заключенного вместе с ним в темницу; он пошел на смерть, так и не позволив себе усомниться в правоте своего господина. Мы знаем из книг, что когда Людовик XI захватил город Аррас, среди его жителей оказалось немало таких, которые предпочли быть повешенными, лишь бы не прокричать: «Да здравствует король!»

В царстве Нарсингском жены жрецов и посейчас еще погребаются живою вместе со своими умершими мужьями. Всех прочих женщин сжигают живыми на похоронах их мужей, и они умирают не только с поразительной стойкостью, но, как говорят, даже с радостью. А когда предается сожжению тело их скончавшегося государя, все его жены, наложницы, любимцы и должностные лица всякого звания, а также слуги, образовав большую толпу, с такой охотой собираются у костра, чтобы броситься в него и сгореть вместе со своим властелином, что, надо полагать, у них почитается великою честью сопутствовать ему в смерти.

А что сказать об этих низких душонках — шутах? Среди них попадаются порой и такие, которые не хотят расставаться с привычным для них балагурством даже перед лицом самой смерти. Один из них, когда палач, вешая его, уже вышиб изпод него подставку, крикнул: «Эх, где наша не пропадала!», что

было его излюбленной прибауткой. Другой, лежа на соломенном тюфяке у самого очага и находясь при последнем издыхании, ответил врачу, спросившему, где именно он чувствует боль: «Между постелью и очагом». А когда пришел священник и, желая совершить над ним обряд соборования, стал нащупывать его ступни, которые он от боли подобрал под себя, он сказал: «Вы найдете их на концах моих ног». Тому, кто убеждал его вручить себя нашему Господу, он задал вопрос: «А кто же меня доставит к нему?» и, когда услышал в ответ: «Быть может, вы сами, если будет на то его Божья воля», то сказал: «Но ведь я буду у него, пожалуй, лишь завтра вечером». — «Вы только вручите себя его воле, — заметил на это его собеседник, — и вы окажетесь там очень скоро». — «В таком случае, — заявил умирающий, — уж лучше я сам себя и вручу ему».

Во время наших последних войн за Милан, когда он столько раз переходил из рук в руки, народ, истомленный столь частыми превратностями судьбы, настолько проникся жаждою смерти, что, по словам моего отца, он видел там список, в котором насчитывалось не менее двадцати пяти взрослых мужчин, отцов семейств, покончивших самоубийством в течение одной только недели. Нечто подобное наблюдалось и при осаде Брутом города Ксанфа; его жителей — мужчин, женщин, детей — охватило столь страстное желание умереть, что люди, стремясь избавиться от грозившей им смерти, не прилагают к этому столько усилий, сколько приложили они, чтобы избавиться от ненавистной им жизни; и Бруту с трудом удалось спасти лишь ничтожное их число.

Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его даже ценой жизни. Первый пункт той прекрасной и возвышенной клятвы, которую принесла и сдержала Греция во время греко-персидских войн, гласил, что каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские. А сколь многие во время греко-турецких войн предпочитали умереть мучительной смертью, лишь бы не осквернить обрезания и не подвергнуться обряду крещения! И нет религии, которая не могла бы побудить к чему-либо подобному. <...>

После того как кастильские короли изгнали из своего государства евреев, король португальский Иоанн предоставил им в своих владениях убежище, взыскав по восемь экю с души и поставив условием, чтобы к определенному сроку они покинули пределы его королевства; он обещал для этой цели снарядить корабли, которые должны будут перевезти их в Африку. В назначенный день, по истечении коего все не подчинившиеся указу, согласно сделанному им предупреждению, обращались в рабов, им были предоставлены весьма скудно снаряженные корабли. Те, кто взошел на них, подверглись жестокому и грубому обращению со стороны судовых команд, которые, не говоря уже о

других издевательствах, возили их по морю взад и вперед, пока изгнанники не съели всех взятых с собою припасов и не оказались вынуждены покупать их у моряков по таким баснословным ценам, что к тому времени, когда, наконец, их высадили на берег, они были обобраны до нитки.

Когда известие об этом бесчеловечном обращении распространилось среди оставшихся в Португалии, большинство предпочло стать рабами, а некоторые притворно выразили готовность переменить веру. Король Мануэль, наследовавший Иоанну, сначала возвратил им свободу, но затем, изменив свое решение, установил новый срок, по истечении коего им надлежало покинуть страну, для чего были выделены три гавани, где им предстояло погрузиться на суда. Он рассчитывал, как говорит в своей превосходно написанной на латыни книге историк нашего времени епископ Озорио, что если блага свободы, которую он им даровал, не могли склонить их к христианству, то к этому их принудит страх подвергнуться, подобно ранее уехавшим соплеменникам, грабежу со стороны моряков, а также нежелание покинуть страну, где они привыкли располагать большими богатствами, и отправиться в чужие, неведомые края. Но, убедившись, что надежды его были напрасны и что евреи, несмотря ни на что, решили уехать, он отказался предоставить им две гавани из числа первоначально назначенных трех, рассчитывая, что продолжительность и трудности переезда отпугнут некоторых из них, или имея в виду собрать их всех в одно место, дабы с большим удобством исполнить задуманное. А задумал он вот что: он повелел вырвать из рук матерей и отцов всех детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, чтобы отправить их в такое место, где бы они не могли ни видаться, ни общаться с родителями, и там воспитать их в нашей религии. Говорят, что это приказание явилось причиной ужасного зрелища. Естественная любовь родителей к детям и этих последних к родителям, равно как и рвение к древней вере не могли примириться с этим жестоким приказом. Здесь можно было увидеть, как родители кончали с собой; можно было увидеть и еще более ужасные сцены, когда они, движимые любовью и состраданием к своим маленьким детям, бросали их в колодцы, чтобы хоть этим путем избежать исполнения над ними закона. Пропустив назначенный для них срок из-за нехватки кораблей, они снова были обращены в рабство. Некоторые из них стали христианами, однако и теперь, по прошествии целых ста лет, мало кто в Португалии верит в искренность их обращения или приверженность христианскому исповеданию их потомства, хотя привычка и время действуют гораздо сильнее, чем принуждение. *Quoties non modo ductores nostri, — говорит Цицерон, — sed universi etiam exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt**.

* Сколько раз не только наши вожди, но и целые армии устремлялись навстречу неминуемой смерти (*лат.*). Цицерон. Туск., I, 37.

Мне привелось наблюдать одного из моих ближайших друзей, который всей душой стремился к смерти: это была настоящая страсть, укоренившаяся в нем и подкрепляемая рассуждениями и доводами всякого рода, страсть, от которой я не в силах был его отвратить, и при первой же возможности покончить с собой при почетных для него обстоятельствах он, без всяких видимых оснований, устремился навстречу смерти, влекомый мучительной и жгучей жадной ее.

Мы располагаем примерами подобного рода и для нашего времени, вплоть до детей, которые из боязни какой-нибудь ничтожной неприятности накладывают на себя руки. «Чего только мы не страшимся, — говорит по этому поводу один древний писатель, — если страшимся даже того, что трусость избрала своим прибежищем?» Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женского пола, принадлежавших к различным сословиям, исповедовавших самую различную веру, которые даже в былые, более счастливые времена с душевной твердостью ждали наступления смерти, больше того, сами искали ее, одни — чтобы избавиться от невзгод земного существования, другие — просто от пресыщения жизнью, третьи — в чаянии лучшего существования в ином мире, — я никогда бы не кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечислить тех, кто страшился смерти.

Только вот еще что. Однажды во время сильной бури философ Пиррон, желая ободрить некоторых из своих спутников, которые, как он видел, боялись больше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле борова, не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли мы утверждать, что преимущества, доставляемые нашим

ВВ *«Нищета», «боль», «смерть» — слова, которые во все времена вызывали у людей страх, и не обязательно у тех, кто уже знаком с ними. В детях, например, живет непостижимая потребность в ощущении страха. Они пересказывают друг другу жуткие истории — страшилки... Это очень искреннее, сильное чувство. Возможно, таким образом они приучают себя искать пути и способы преодоления страха уже с раннего детства, ибо это ощущение человек может испытывать в течение всей жизни.*

разумом, которым мы так гордимся и благодаря которому являемся господами и повелителями прочих тварей земных, даны нам на наше мучение? К чему нам познание вещей, если из-за него мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противном случае обладали бы, и оказываемся в худшем положении, чем боров Пиррона? Не употребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам ради нашего вяшего блага, если будем применять ее наперекор целям природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе?

Мне скажут, пожалуй: «Ваши соображения справедливы, пока речь идет о смерти. Но что скажете вы о нищете?

Что скажете вы о страдании, на которое Аристипп, Иероним и большинство мудрецов смотрели как на самое ужасное из несчастий? И разве отвергавшие его на словах не признавали его на деле?» Помпей, придя навестить Посидония и застав его терзаемым тяжелой и мучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал столь неподходящее время, чтобы послушать его философские рассуждения. «Да не допустят боги, — ответил ему Посидоний, — чтобы боль возымела надо мной столько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этом предмете». И он сразу же пустился в рассуждения о презрении к боли. Между тем она делала свое дело и ни на мгновение не оставляла его, так что он, наконец, воскликнул: «Сколько бы ты, боль, ни старалась, твои усилия тщетны; я все равно не назову тебя злом». Этот рассказ, которому придают столько значения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесь идет речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоили Посидония, с чего бы ему прерывать свои рассуждения? И почему придавал он такую важность тому, что отказывал боли в наименовании ее злом?

Здесь не все зависит от воображения. Если в иных случаях мы и следуем произволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама за себя говорит. Судьями в этом являются наши чувства:

Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis.*

Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочут ее? Или убедить наши органы вкуса, что настойка алоэ — это белое вино? Боров Пиррона — еще одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха перед смертью, но если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль. Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому все живущее на земле боится боли? Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносят увечья. Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем ее только рассудком, ибо от жизни она отделена не более чем мгновением:

*Aut fuit, aut veniet, nihil est praesentis in illa,
Morsque minus poenae quam mora mortis habet**.*

Тысячи животных, тысячи людей умирают прежде, чем успевают почувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.

* Если чувства будут не истинны, то и весь наш разум окажется ложным (лат.). Лукреций, IV, 486.

** Смерть или была, или будет, она не имеет отношения к настоящему; и менее мучительна сама смерть, чем ее ожидание (лат.).

Первый стих взят Монтенем из латинской сатиры его друга Этьена де Ла Боэси; второй — из Овидия (Героиды, X, 82).

Правда, если верить одному из отцов церкви, *malam mortem non facit, nisi quod sequitur mortem**. Но, мне кажется, правильнее было бы сказать, что ни то, что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, собственно к ней не относятся. Мы извиняем себя без достаточных оснований. И, как говорит опыт, дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делает невыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне, поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрек в малодушие за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной и столь неощутимой вещи, мы прибегаем к этому наиболее удобному оправданию своего страха.

Любую болезнь, если она не таит в себе никакой другой опасности, кроме причиняемых ею страданий, мы зовем неопасною. Кто же станет считать зубную боль или, скажем, подагру, как бы мучительны они ни были, настоящей болезнью, раз они не смертельны? Но допустим, что в смерти нас больше всего пугает страдание, — совершенно так же, как и в нищете нет ничего страшного, кроме того, что, заставляя нас терпеть голод и жажду, зной и холод, бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страдания.

Так вот, будем вести речь только о физической боли. Я отдаю ей должное: она — наихудший из спутников нашего существования, и я признаю это с полной готовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит ее всей душой, кто избегает ее, как только может, и, благодарение Господу, до этого времени мне не пришлось еще по-настоящему познакомиться с нею. Но ведь в нашей власти если не устранить ее полностью, то, во всяком случае, до некоторой степени умерить терпением и, как бы ни страдало наше тело, сохранить свой разум и свою душу неколебимыми.

Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетели, доблесть, силу, величие духа, решительность? В чем бы они проявляли себя, если бы не существовало страдания, с которыми они вступают в борьбу? *Avida est periculi virtus***. Если бы не приходилось спать на голой земле, выносить в полном вооружении полуденный зной, питаться кониной или ослятиной, подвергаться опасности быть изрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю, зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают ее каленым железом, — в чем могли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличаться от низменных натур? И когда мудрецы говорят, что из двух одинаково славных деяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет больше труда, то это отнюдь не похоже на совет избегать страданий и боли. *Non enim hilari-*

* Смерть — зло лишь в силу того, что за ней следует (лат.). Августин. О Граде Божиим, I, 11.

** Доблесть жаждет опасности (лат.). Сенека. О провидении, 4.

tate, nec lascivia, nec risu aut ioco comite levitatis, sed saepe etiam tristes firmitate et constantia sunt beati*. Вот почему никак нельзя было разубедить наших предков в том, что победы, одержанные в открытом бою, среди превратностей, которыми чревата война, более почетны, чем достигнутые без всякой опасности, одной лишь ловкостью и изворотливостью:

Laetius est, quies magno sibi constat honestum**.

Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, что обычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной, если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной: si gravis brevis, si longus levis***. Ты не будешь испытывать ее слишком долго, если чувствуешь ее слишком сильно; она положит конец либо себе, либо тебе. И то и другое ведет в итоге к одному и тому же. Если ты не в силах перенести ее, она сама унесет тебя. Memineris maximos morte finiti: parvos multa habere intervalla requietis; mediocrium nos esse dominos: ut si tolerabiles sint, feramus, sin minus, e vita cum ea non placeat, tanquam e theatro exeamus****.

В С какой легкостью многие люди отказались от попыток исследовать и изучать человеческую душу. Если со времен Монтеня собраны и систематизированы знания о жизни человека в рамках медицины, психологии, педагогики, социологии и других наук о человеке, то до сих пор пока еще таинственны истоки и природа его души. Когда в жизни мы видим проявления силы человеческого духа — нас это поражает, удивляет или ставит в тупик. Почему?

Невыносимо мучительной делается для нас боль оттого, что мы не призываем искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она — единственная и повелевающая госпожа и нашего состояния, и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию, — каким бы это

* Ведь даже будучи удручены, часто не в веселье и не в забавах, не в смехе и не в шутке, спутнице легкомыслия, находят они отраду, но в твердости и постоянстве (лат.). Цицерон. О высш. благе..., II, 20.

** Добродетель тем приятнее, чем труднее ее достичь (лат.). Лукан. IX, 404.

*** Если мучительна, то непродолжительна, если продолжительна — то не мучительна (лат.). Цицерон. О высш. благе..., II, 29.

**** Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесем их; если же нет — уйдем из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра (лат.). Цицерон. О высш. благе..., I, 15.

состояние ни было, — ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вот почему ее должно изучать и исследовать, вот почему надо приводить в движение скрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору. Перед нею — тысяча самых разнообразных возможностей; так представим же ей ту из них, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой, и тогда мы не только укроемся от ударов судьбы, но, даже испытывая страдания и обиды, будем считать, если она того пожелает, что нас осчастливили и облагодетельствовали ее ударами.

Она извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения, даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги.

Легко видеть, что именно обостряет наши страдания и наслаждения: это — сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом, предоставляют своему телу свободно и непосредственно, а следовательно и почти тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства; в этом легко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствах всегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашего тела, то, надо думать, нам стало бы от этого много лучше, ибо природа наделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению и естественной способностью переносить страдание. Да они и не могли бы быть неестественными, так как они свойственны всем и одинаковы для всех. Но поскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предаться неограниченной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере, помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону.

Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существом страданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу нашему телу и привязывает ее к нему. Что до меня, то я опасаясь скорее обратного, а именно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга.

Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится еще безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаемся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.

Обратимся, однако, к примерам — этому подспорью людей слабосильных, вроде меня, — и тут мы сразу убедимся, что со страданием дело обстоит так же, как и с драгоценными камнями, которые светятся ярче или более тускло, в зависимости от того, в какую оправу мы их заключаем; подобно этому и страдание за-

хватывает нас настолько, насколько мы поддаемся ему. *Tantum doluerunt*, — говорит св. Августин, — *quantum doloribus se inseruerunt**. Мы ощущаем гораздо сильнее надрез, сделанный бритвой хирурга, чем десяток ранений шпагою, полученных нами в пылу сражения.

Простой мальчишка-спартанец, украв лисицу и спрятав ее у себя под плащом, допустил, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не выдать себя (ведь они, как известно, гораздо больше боялись проявить неловкость при краже, чем мы — наказания за нее). Другой, кадя благовониями во время заклания жертвы и выронив из кадила уголек, упавший ему за рукав, допустил, чтобы он прожег ему тело до самой кости, опасаясь нарушить происходившее таинство. В той же Спарте можно было увидеть множество мальчиков семилетнего возраста, которые, подвергаясь, согласно принятому в этой стране обычаю, испытанию доблести, не менялись даже в лице, когда их засекали до смерти. Цицерон видел разделившихся на группы детей, которые дрались, пуская в ход кулаки, ноги и даже зубы, пока не падали без сознания, так и не признав себя побежденными.

Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила. Кто стремился с такою жадностью к безопасности и покою, как Александр Великий и Цезарь к опасностям и лишениям? Терес, отец Ситалка, имел обыкновение говорить, что когда он не на войне, он не видит между собой и своим конюхом никакого различия.

Когда Катон в бытность свою консулом, желая обеспечить себе безопасность в нескольких городах Испании, запретил их обитателям носить оружие, многие из них наложили на себя руки: *Ferox gens nullam vitam rati sine armis esse***. А сколько мы знаем таких, кто бежал от утех спокойного существования у себя дома, в кругу родных и друзей, навстречу ужасам безлюдных пустынь, кто сам себя обрек нищете, жалкому прозябанию и презрению света и настолько был удовлетворен этим образом жизни, что полюбил его всей душой! Кардинал Борромео, скончавшийся недавно в Милане, в этом средоточии роскоши и наслаждений, к которым его могли бы приохотить и знатность происхождения, и богатство, и самый воздух Италии, и, наконец, молодость, жил в такой строгости, что одна и та же одежда служила ему и зимою и летом, и ему было незнакомо другое ложе, кроме охапки соломы; и если у него оставались свободные от его обязанностей часы, он их проводил в непрерывных занятиях, стоя на коленях и имея возле своей книги немного воды и хлеба, составлявших всю его пищу, которую он и съедал, не отрываясь от чтения.

* Они испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им (лат.). Августин. О Граде Божием, I, 20.

** Дикое племя, которое не может представить себе жизнь без оружия (лат.). Тит Ливий, XXXIV, 17.

В Острейшее переживание по поводу наличия чего-либо у кого-либо и отсутствия этого у себя приводит к действиям и поступкам порой немислимым как у детей, так и у взрослых. Вещизм, безумное стремление к обогащению любыми способами — явление характерное и для современного поколения. Ведь всегда найдется что-то, чего у тебя еще нет, или не в тех количествах, или не того качества. Поэтому важно с детского возраста ставить проблемы материального благополучия человека и возможности его духовного роста не в их противопоставлении, а как проблемы разного порядка и взаимодополняющие друг друга сферы жизни человека любой эпохи и цивилизации.

Что ценность вещей зависит от мнения, которое мы имеем о них, видно хотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мы рассматриваем не только затем, чтобы оценивать их, но и с тем, чтобы оценить их для себя. Мы не принимаем в расчет ни их качества, ни степени их полезности: для нас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основное в их сущности; и ценностью их мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы себе их достали. Из этого я делаю заключение, что мы расчетливые хозяева и не позволяем себе лишних издержек. Если вещь добыта нами с трудом, она стоит в наших глазах столько, сколько стоит затраченный нами труд. Мнение, составленное нами о вещи, никогда не допустит, чтобы она имела несоразмерную цену. Алмазу придает достоинство спрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемые лишения, лекарству — горечь.

Некто, желая сделаться бедняком, выбросил все свои деньги в то самое море, в котором везде и всюду копошится столько других людей, чтобы уловить в свои сети богатство. Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность. Я хочу поделиться на этот счет своим опытом.

С тех пор как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условий существования. Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иных средств, кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися от чужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более что количество их определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовал себя лучше. Ни разу не случилось, чтобы кошельки моих друзей оказались для меня туго завязанными. Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботу о том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобы расплатиться. Этот срок, впрочем, они продлевали, может быть, тысячу раз, видя усилия, которые я прилагал, чтобы вовремя рассчитаться с ними; выходит, что я платил им со щепетильною и, вместе с тем, несколько плутоватою честностью.

Погашая какой-нибудь долг, я испытываю всякий раз настоящее наслаждение: с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избавляюсь от сознания своей зависимости. К тому же мне доставляет некоторое удовольствие мысль, что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого. Сюда, конечно, не относятся платежи, сопряженные с расчетами и необходимостью торговаться, так как если нет никого, на кого можно было бы свалить эту обузу, я, к стыду своему, не вполне добросовестным образом оттягиваю их елико возможно; я смертельно боюсь всяких препирательств, к которым ни склад моего характера, ни мой язык никоим образом не приспособлены. Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и бесстыдство; после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают раньше данное ими слово ради каких-нибудь пяти су. Вот почему условия, на которых я занимал, бывали обычно невыгодными; не решаясь попросить денег при личном свидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага — не очень хороший ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздо охотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих дел счастливой звезде, чем доверяю их теперь своей предусмотрительности и здравому смыслу.

Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такой неопределенности; но, во-первых, они упускают из виду, что большинство людей живет именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своей уверенностью в завтрашнем дне и продолжает каждодневно делать то же самое в надежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобы сделаться Цезарем, издержал, помимо своего имущества, еще миллион золотом, взятый им в долг. А сколько купцов начинают свои торговые операции с продажи какой-нибудь фермы, которую они посылают, так сказать, в Индию

*Tot per impotentia freta**.

Мы видим, что, несмотря на оскудение благочестия, многие тысячи монастырей не знают нужды, хотя дневное пропитание живущих в них монахов зависит исключительно от милостей неба. Во-вторых, эти хорошие хозяева забывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться, столь же неустойчива и столь же подвержена разного рода случайностям, как и сам случай. Имея две тысячи экю годового дохода, я вижу себя столь близким к нищете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего

* Через столько бурных морей (лат.). Катулл, IV, 18.

среднего между величайшим благоденствием и полным крушением:

*Fortuna vitrea est; tunc cum splendet frangitur**.

И поскольку она считает все наши шансы и бастионы, я считаю, что нужда столь же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех, кто не имеет его; и подчас она менее тягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел: *faber est suae quisque fortunae***. Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горло делами богатч кажется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту беден: *in divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est****.

Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных и богатых властителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большею крайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников, присваивающих достояние своих подданных?

Второй период моей жизни — это то время, когда у меня завелись свои деньги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я в короткий срок отложил довольно значительные, сравнительно с моим состоянием, сбережения, считая, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаем сверх наших обычных издержек, и что нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам ни казались. «А вдруг, — говорил я себе, — меня постигнет та или другая случайность?» Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаю благоразумно, откладывая излишки, которые должны были выручить меня в случае затруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднениям нет числа, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всех трудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых и притом весьма многих. Дело не обходилось без мучительных волнений. Я из всего делал тайну. Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил о своих средствах, многое утаивая, неискренно, следуя примеру тех, кто, обладая богатством, приbedняется, а будучи бедным, изображает себя богачом, но никогда не признается по совести, чем он располагает в действительности. Смешная и постыдная осторожность! Отправлялся ли я в путешествие, мне постоянно

* Судьба — стекло: блестя — разбивается (*лат.*). Публий Сир. Изречения.

** Каждый — кузнец своей судьбы (*лат.*). Саллюстий. II письмо к Цезарю, I.

*** Испытывать нужду при богатстве — род нищеты наиболее тягостный (*лат.*). Сенека. Письма, 74.

казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем больше денег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения: то я сомневался, насколько безопасны дороги, то — можно ли доверять честности тех, кому я поручал мои вещи, за которые, подобно многим другим, я никогда не бывал спокоен, если только они не были у меня перед глазами. Если же шкатулку с деньгами я держал при себе, — сколько подозрений, сколько тревожных мыслей и, что самое худшее, — таких, которыми ни с кем не поделишься! Я был всегда настороже. В общем, уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Если, бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то каких трудов мне стоило удержаться от этого! О своем удобстве я заботился мало или совсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньги свободнее, я не стал расставаться с ними с более легкой душой. Ибо, как говорил Бион, волосатый злится не меньше плешивого, когда его дерут за волосы. Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твердо это запомнили, — вы уже больше не властны над ней, и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит вам лишь прикоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только в том случае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большею легкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем теперь позволял себе прикоснуться к заветному кошельку, который я хранил в потайном месте. И хуже всего то, что нелегко положить себе в этом предел (ведь всегда бывает трудно установить границу того, что считаешь благом) и остановиться на должной черте в своем скопидомстве. Накопленное богатство невольно стараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, а прибавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в свое удовольствие своим же добром, которое хранишь под спудом, без всякого употребления.

Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьми придется назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудь богатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд, — скопидом.

Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские блага человека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсе не слепо; напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие.

Здесь уместно вспомнить о Дионисии Младшем, который весьма остроумно подшутил над одним скрягой. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопал в землю сокровища. Дионисий велел ему доставить их к нему во дворец, что тот и сделал, утаив, однако, некоторую их часть; а затем, забрав с собой припрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряв вкус к накоплению денег, начал жить на более ши-

рокую ногу. Услышав об этом, Дионисий приказал возвратить ему отнятую у него часть сокровищ, сказав, что, поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими как подобает, он охотно возвращает ему отобранное.

И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый гений вышиб, на мое счастье, весь этот вздор из моей головы, подобно тому как это случилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мне удовольствие, испытанное во время одного путешествия, сопряженного с большими издержками. С той поры я перешел уже к третьему по счету образу жизни — так, по крайней мере, мне представляется, — несомненно более приятному и упорядоченному. Мои расходы я соизмеряю с доходами; если порою первые превышают вторые, а порою бывает наоборот, то все же большого расхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды; что же до нужд непредвиденных, то тут человеку не хватит и богатств всего мира. Глупостью было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от ее посягательств. Бороться с нею мы должны своим собственным оружием. Случайное оружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз и откладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного расхода в ближайшем времени, не для того, чтобы купить себе землю (с которою мне нечего делать), а чтобы купить удовольствие. *Non esse cupidum pecunia est, non esse emacem vestigal est**.

Я не испытываю ни опасений, что мне не хватит моего состояния, ни желания, чтобы оно у меня увеличилось: *Divitiarum fructus est in copia, copiam declarat satietas***. Я считаю великим для тебя счастьем, что эта перемена случилась со мною в наиболее склонном к скупости возрасте и что я избавился от недуга, столь обычного у стариков и притом самого смешного из всех человеческих сумасбродств.

Фераулес, унаследовав два состояния и обнаружив, что с возрастом богатства желание есть, пить, спать или любить жену не возрастает, но остается таким же, как прежде, и чувствуя, с другой стороны, какое невыносимое бремя возлагает на него стремление соблюдать бережливость, — совсем как это было со мной, — решил благодетельствовать одного юношу, своего верного друга, который жаждал разбогатеть, и с этою целью подарил ему не только все то, что уже имел, — а состояние его было огромным, — но и то, что продолжал получать от щедрот своего повелителя Кира, равно как и свою долю военной добы-

* Не быть жадным — уже есть богатство; не быть расточительным — доход (лат.). Цицерон. Парадоксы, VI, 3.

** Плод богатства — обилие; признак обилия — довольство (лат.). Цицерон. Парадоксы, VI, 2.

чи, при условии, что этот молодой человек возьмет на себя обязательство достойным образом содержать и кормить его, как гостя и друга. Так они и жили с этой поры в полном согласии, причем оба были в равной мере довольны переменой в своих обстоятельствах. Вот пример, которому я последовал бы с величайшей охотой.

Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прелата, который полностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах и тратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому, и провел долгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно он был во всем этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другого является достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычно покровительствует Бог. Что касается упомянутого мною прелата, то нигде я не видел такого порядка, как у него в доме, как нигде больше не видел, чтобы хозяйство поддерживалось с таким достоинством и такой твердой рукой. Счастлив тот, кто сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, что его средства оказываются достаточными для удовлетворения их, без каких-либо хлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

В Проблема денег — одна из самых непростых для обсуждения с детьми. Действительно, каким должно быть отношение взрослого человека к деньгам в эпоху, когда, с одной стороны, роль денег приобретает в жизни чуть ли не мистическое значение, а с другой стороны — культура потребления в целом поколении россиян по сути отсутствует.

Итак, и довольство и бедность зависят от представления, которое мы имеем о них: сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье, прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот, кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.

Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она ставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния.

Внешние обстоятельства принимают тот или иной характер в зависимости от наших внутренних свойств, подобно тому как

наша одежда согревает нас не своей теплотой, но нашей собственной, которую, благодаря своим свойствам, она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудь холодный предмет, точно таким же образом поддержал бы в нем холод: так именно и поступают со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния.

Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения — тяготою для человека изнеженного и праздного, и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погруженное в воду, кажется нам надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и как мы его видим.

Глава 20

О ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ — ЭТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ УМИРАТЬ

Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приготавливать себя к смерти. И это тем более верно, ибо исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной-единственной цели, а именно обеспечить нам удовлетворение наших желаний, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность творить добро и жить в свое удовольствие, как сказано в Священном писании. Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать человека, утверждающего, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные. *Transcurramus sollertissimas nugas**. Здесь больше упрямства и препирательств по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели ко-

* Давайте оставим эти мелкие ухищрения (лат.). Сенека. Письма, 117, 30.

нечная цель — наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух тех, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере зависит от добродетели, чем от чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, такое наслаждение делается от этого лишь более сладостным. И нам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым и естественным словом «удовольствие», нежели словом «вожделение», как его часто именуют. Что до этого более низменного наслаждения, то если оно вообще заслуживает этого прекрасного названия, то разве что в порядке соперничества, а не по праву. Я нахожу, что этот вид наслаждения еще более, чем добродетель, сопряжен с неприятностями и лишениями всякого рода. Мало того, что оно мимолетно, зыбко и преходяще, ему также присущи и свои бедствия, и свои посты, и свои тяготы, и пот, и кровь; сверх того, с ним сопряжены особые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания, а затем — пресыщение, до такой степени тягостное, что его можно приравнять к наказанию. Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти трудности и помехи обостряют такое наслаждение и придают ему особую прелесть, подобно тому как это происходит в природе, где противоположности, сталкиваясь, вливают друг в друга новую жизнь; но в не меньшее заблуждение мы впадаем, когда, переходя к добродетели, говорим, что сопряженные с нею трудности и невзгоды превращают ее в бремя для нас, делают чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тут гораздо больше, чем в сравнении с вышеназванным наслаждением, они облагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенное удовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине недостойн общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которых она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести. Если кто утверждает, что достижение добродетели — дело мучительное и трудное и что лишь обладание ею приятно, это все равно как если бы он говорил, что она всегда неприятна. Разве есть у человека такие средства, с помощью которых кто-нибудь хоть однажды достиг полного обладания ею? Наиболее совершенные среди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им выпадала возможность добиваться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладать когда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются: ведь погоня за всеми известными нам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятное чувство. Само стремление порождает в нас желанный образ, а ведь в нем содержится добрая доля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещи едино с ее образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают ярким сиянием все имеющее к ней отноше-

ние, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейших благодеяний ее — презрение к смерти; оно придает нашей жизни спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда же этого нет, отравлены и все прочие наслаждения.

Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке. И хотя они в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету и другие невзгоды, которым подвержена жизнь человека, все же не это должно быть первейшей нашей заботой, как потому, что эти невзгоды не столь уж неизбежны (большая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, а некоторые — даже не зная, что такое физическое страдание и болезни, каков, например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте ста шести лет и пользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем), так и потому, что, на худой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти, которая положит предел нашему земному существованию и прекратит наши мучения. Но что касается смерти, то она неизбежна:

Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna, serius ocios
Sors exitura et nos in aeternum
Exitium impositura cymbae*.

Из чего следует, что если она внушает нам страх, то это является вечным источником наших мучений, облегчить которые невозможно. Она подкрадывается к нам отовсюду. Мы можем сколько угодно оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах: *quae quasi saxum Tantalos semper impendet***. Наши парламенты нередко отсылают преступников для исполнения над ними смертного приговора в то самое место, где совершено преступление. Заходите с ними по дороге в роскошнейшие дома, угощайте их там изысканнейшими яствами и напитками,

non Siculae dapes
Dulcem elaborabunt saporem,
Non avium cytharaeque cantus
Somnum reducent***;

думаете ли вы, что они смогут испытать от этого удовольствие и что конечная цель их путешествия, которая у них всегда пред

* Все мы влекомы к одному и тому же; для всех встряхивается урна, позже ли, раньше ли — выпадает жребий и нас для вечной гибели обречет ладье (Харона) (лат.). Гораций. Оды, II, 3, 25—28.

** Она всегда угрожает, словно скала Тантала (лат.). Цицерон. О высш. благе..., I, 18.

*** ...ни сицилийские яства не будут услаждать его, ни пение птиц и игра на кифаре не возвратят ему сна (лат.). Гораций. Оды, III, 1, 18—20.

глазами, не отобьет у них вкуса ко всей этой роскоши, и та не поблекнет для них?

Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum
Metitur vitam, torquetur peste futura*.

Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми, — вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! Таким только и взнуздывать осла с хвоста.

Qui capita ipse suo instituit vestigia retro, —**

и нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадают в западню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них при произнесении кем-нибудь этого слова крестится так же, как при упоминании дьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы они подумали о его составлении прежде, чем врач произнесет над ними свой последний приговор; и одному Богу известно, в каком состоянии находятся их умственные способности, когда, терзаемые смертными муками и страхом, они принимают, наконец, стряпать его.

Так как слог, обозначавший на языке римлян «смерть», слишком резал их слух и в его звучании им слышалось нечто зловещее, они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать «он умер», они говорили «он перестал жить» или «он отжил свое». Поскольку здесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им известное утешение. Мы заимствовали отсюда наше «покойный господин имярек». При случае, как говорится, слово дороже денег. Я родился между одиннадцатью часами и полночью, в последний день февраля тысяча пятьсот тридцать третьего года по нашему нынешнему летосчислению, то есть считая началом года январь. Две недели тому назад закончился тридцать девятый год моей жизни, и мне следует прожить по крайней мере еще столько же. Было бы безрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далекой, казалось бы, вещи. В самом деле, и стар и млад одинаково сходят в могилу. Всякий не иначе уходит из жизни, как если бы он только что вступил в нее. Добавьте сюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле, не рассчитывал бы прожить еще годиков двадцать. Но, жалкий глу-

* Он тревожится о пути, считает дни, отмеряет жизнь дальностью дорог и мучим мыслями о грядущих бедствиях (*лат.*). Клавдиан. Против Руфина, II, 137—138.

** Он задумал идти, вывернув голову назад (*лат.*). Лукреций, IV, 472.

пец, — ибо что же иное ты собой представляешь! — кто установил срок твоей жизни? Ты основываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружает тебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного хода вещей, то ты уже долгое время живешь благодаря особому благоволению неба. Ты превысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в этом, подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста, и ты увидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил до твоих лет. Составь, кроме того, список украсивших свою жизнь славою, и я побьюсь об заклад, что в нем окажется значительно больше умерших до тридцатипятилетнего возраста, чем перешедших этот порог. Разум и благочестие предписывают нам считать образцом человеческой жизни жизнь Христа; но она окончилась для него, когда ему было тридцать три года. Величайший среди людей, на этот раз просто человек — я имею в виду Александра — умер в таком же возрасте.

И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить нас врасплох!

*Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas*.*

Я не стану говорить о лихорадках и воспалении легких. Но кто мог бы подумать, что герцог Бретонский будет раздавлен в толпе, как это случилось при въезде папы Климента, моего соседа, в Лион? Не видали ли мы, как один из королей наших был убит, принимая участие в общей забаве? И разве один из предков его не скончался, раненный вепрем? Эсхил, которому было предсказано, что он погибнет, раздавленный рухнувшей кровлей, мог сколько угодно принимать меры предосторожности; все они оказались бесполезными, ибо его поразил насмерть панцирь черепахи, выскользнувшей из когтей уносившего ее орла. Такой-то умер, подавившись виноградной косточкой; такой-то император погиб от царапины, которую причинил себе гребнем; Эмилий Лепид — споткнувшись о порог своей собственной комнаты, а Авфидий — ушибленный дверью, ведущей в зал заседаний совета. В объятиях женщин окончили свои дни: претор Корнелий Галл, Тигеллин, начальник городской стражи в Риме, Лодовико, сын Гвидо Гонзаго, маркиза Мантуанского, а также — и эти примеры будут еще более горестными — Спевсипп, философ школы Платона, и один из пап. Бедняга Бебий, судья, предоставив недельный срок одной из тяжущихся сторон, тут же испустил дух, ибо срок, предоставленный ему самому, истек. Скоростижно скончался и Гай Юлий, врач; в тот момент, когда он смазывал глаза одному из больных, смерть смежила ему его собственные. Да и среди моих родных бывали тому примеры: мой брат, капи-

* Человек не в состоянии предусмотреть, чего ему должно избегать в то или иное мгновение (лат.). Гораций. Оды, II, 13, 13—14.

тан Сен-Мартен, двадцатитрехлетний молодой человек, уже успевший, однако, проявить свои незаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мячом, причем удар, пришедшийся немного выше правого уха, не причинил раны и не оставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег и даже не присел, но через пять или шесть часов скончался от апоплексии, причиненной этим ушибом. Наблюдая столь частые и столь обыденные примеры этого рода, можем ли мы отделаться от мысли о смерти и не испытывать всегда и всюду ощущения, будто она уже держит нас за ворот.

Но не все ли равно, скажете вы, каким образом это с нами произойдет? Лишь бы не мучиться! Я держусь такого же мнения, и какой бы мне ни представился способ укрыться от сыплющихся ударов, будь то даже под шкурой телянка, я не таков, чтобы отказаться от этого. Меня устраивает решительно все, лишь бы мне было покойно. И я изберу для себя наилучшую долю из всех, какие мне будут предоставлены, сколь бы она ни была, на ваш взгляд, мало почетной и скромной:

praetulerim delirus inersque videri
Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
Quam sapere et ringi*.

Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путем можно перейти в иной мир. Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но если она нагрянет, — к ним ли самим или к их женам, детям, друзьям, захватив их врасплох, беззащитными, — какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным? Следовало бы поразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность, — если только она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека (по-моему, она совершенно невозможна), — заставляет нас слишком дорогою ценой покупать ее блага. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нее ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек,

Nempe et fugacem persequitur virum.
Nec parcat imbellis iuventae
Poplitibus, timidoque tergo**,

* ...я предпочел бы казаться слабоумным и бездарным, лишь бы мои недостатки развлекали меня или, по крайней мере, обманывали, чем их сознать и терзаться от этого (*лат.*). Гораций. Послания, II, 2, 126—128.

* Ведь она преследует и беглеца-мужа и не щадит ни поджилки, ни робкой спины трусливого юноши (*лат.*). Гораций. Оды, III, 2, 14—16.

и так как даже наилучшая броня от нее не обережет,

*Ille licet ferro cautus se condat et aere,
Mors tamen inclusum protrahet inde caput**,

давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство. И чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее облициях. Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наcoleмся о булавку, будем повторять себе всякий раз: «А что если это и есть сама смерть?» Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посреди праздника, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствиям захватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только неожиданным ударам не подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих.

*Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Grata superveniet, quae non sperabitur hora**.*

Неизвестно, где поджидает нас смерть, так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло. Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царя македонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать его идти за триумфальной колесницей, тот ответил: «Пусть обратится с этой просьбой к себе самому».

По правде сказать, в любом деле одним умением и старанием, если не дано еще кое-что от природы, многого не возьмешь. Я по натуре своей не меланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни —

* Пусть он предусмотрительно покрыл себя железом и медью, смерть все же извлечет из доспехов его защищенную голову (*лат.*). Проперций, III, 18, 25—26.

** Считай всякий день, что тебе выпал, последним, и будет милым тот час, на который ты не надеялся (*лат.*). Гораций. Послания, I, 4, 13—14.

*Lucundum cum aetas florida ver ageret**, —

когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсь муками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на днях от горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой, полною неги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это бывает со мною, и в ушах у меня неотвязно звучало:

*Iam fuerit, nec post unquam revocare licebit**.*

Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем все остальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы при первом своем появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним все снова и снова, можно, в конце концов, освоиться с ними. В противном случае — так было бы, по крайней мере, со мной — я жил бы в непрестанном страхе волнений, ибо никто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего не рассчитывал на ее длительность. И превосходное здоровье, которым я наслаждаюсь посейчас и которое нарушалось весьма редко, нисколько не может укрепить моих надежд на этот счет, ни болезни — ничего в них убавить. Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И я без конца нашептываю себе: «Что возможно в любой день, то возможно также сегодня». И впрямь, опасности и случайности почти или — правильнее сказать — нисколько не приближают нас к нашей последней черте; и если мы представим себе, что, кроме такого-то несчастья, которое угрожает нам по-видимому всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть действительно всегда рядом с нами, — и тогда, когда мы веселы, и когда горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда в сражении, и когда отдыхаем. *Nemo altero fragilior est: nemo in crastinum sui certior***.* Мне всегда кажется, что до прихода смерти я так и не успею закончить то дело, которое должен выполнить, хотя бы для его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебирая как-то мои бумаги, нашел среди них записку по поводу некоей вещи, которую, согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказал ему, как обстояло дело: находясь на расстоянии какого-нибудь лье от дома, вполне здоровый и бодрый, я поторопился записать свою волю,

* Когда мой цветущий возраст переживал свою веселую весну (*лат.*). Катулл, LXVIII, 16.

** Он отживет свое, и никогда уже нельзя будет призвать его назад (*лат.*). Лукреций, III, 915.

*** Всякий человек столь же хрупок, как все прочие; всякий одинаково не уверен в завтрашнем дне (*лат.*). Сенека. Письма, 91, 16.

так как не был уверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода и вбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это может случиться со мной в любое мгновение. И как бы внезапно ни пришла ко мне смерть, в ее приходе не будет для меня ничего нового.

Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу, и в особенности остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме как о себе.

Quid brevi fortes iaculamur aevo
Multa?*

Ведь забот у нас и без того предостаточно. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, не успев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этот оплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всей его жизни.

Что до меня, то я, благодарение Богу, готов убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печалуюсь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так основательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне.

Miser, o miser, aiunt, omnia ademit
Una dies infesta mihi tot praemia vitae**.

А вот слова, подходящие для любителя строиться:

Manent opera interrupta, minaeque
Murorum ingentes***.

Не стоит, однако, в чем бы то ни было загадывать так далеко вперед или, во всяком случае, проникаться столь великою скорбью из-за того, что тебе не удастся увидеть завершение начатого тобой. Мы рождаемся для деятельности.

Cum moriar, medium solvar et inter opus****.

* К чему нам в быстротечной жизни дерзко помогать столь многого? (лат.). Гораций. Оды, II, 16, 17.

** О я несчастный, о жалкий! — восклицают они. — Один горестный день отнял у меня все дары жизни (лат.). Лукреций, III, 898—899.

*** Работы остаются незавершенными, и не закончены высокие зубцы стен (лат.). Вергилий. Энеида, IV, 88—89.

**** Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов (лат.). Овидий. Люб. эл., II, 10, 36.

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и тем более к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одного умирающего, который уже перед самой кончиной не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатом из наших королей.

*Illud in his rebus non addunt, nec tibi eorum
Iam desiderium rerum super insidet una*.*

Нужно избавиться от этих малодушных и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин и простолюдинов не пугаться при виде покойников, а также чтобы человеческие останки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе:

*Quin etiam exhilarare viris convivia caede
Mos olim, et miscere epulis spectacula dira
Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum
Pocula respersis non parco sanguine mensis**;* —

подобно также тому, как египтяне по окончании пира показывали присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал: «Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же», так и я приучил себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то: что они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя; это же относится и к историческим сочинениям, в которых я особенно внимательно изучаю места, где говорится о том же. Это видно хотя бы уже из обилия приводимых мною примеров и из того необычайного пристрастия, какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить.

Дикеарх составил подобную книгу, дав ей соответствующее название, но он руководствовался иною и притом менее полезною целью.

* Но вот чего они не добавляют: зато нет у тебя больше и стремления ко всему этому после смерти (*лат.*). Лукреций. III, 900—901.

** Был в старину у мужей обычай оживлять пиры смертоубийством и примешивать к трапезе жестокое зрелище сражающихся, которые падали иной раз среди кубков, поливая обильно кровью пиришественные столы (*лат.*). Силий Италик. Пунические войны, XI, 51—54.

Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее наших представлений о ней и что нет настолько искусного фехтовальщика, который не смутился бы духом, когда дело дойдет до этого. Пусть себе говорят, а все-таки размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная. И потом, разве это безделица — идти до последней черты без страха и трепета? И больше того: сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть — быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею; если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу в болезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такою силой, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие, — я смотрю и на смерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни и чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будет свыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многих примерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно большими, чем вблизи, я подобным же образом обнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезней, чем тогда, когда они давали знать о себе: бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себе противоположное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемые болезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе.

Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможности ощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание, которое все мы претерпеваем, и эти наши потери и наше постепенное разрушение. Что остается у старика из сил его юности, от его былой жизни?

Neu senibus vitae portio quanta manet.*

Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив его на улице, подошел к нему и попросил отпустить его умирать, Цезарь, увидев, насколько он немощен, довольно остроумно ответил: «Так ты, оказывается, мнишь себя живым?» Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение, если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно.

* Увы! Сколь малая толика жизни оставлена старцам (*лат.*). Максимиан. Элегии, I, 16.

Но жизнь ведет нас за руку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку да полегоньку, пока не ввергнет в это жалкое состояние, заставив исподволь привыкнуть к нему. Вот почему мы не ощущаем никаких потрясений, когда наступает смерть нашей молодости, которая, право же, по своей сущности гораздо более жестока, нежели кончина еще теплящейся жизни, или же кончина нашей старости. Ведь прыжок от бытия — прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости и процветания к бытию-скорби и муке.

Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать гяжелую ношу; то же и с нашей душой: ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силу единоборство с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребывала спокойной, трепеща перед ним, то, избавившись от него, она приобретает право хвалиться, — хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческие возможности, — что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний, страха или даже самого легкого огорчения.

Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida, neque Auster
Dux inquieti turbidus Adriæ,
Nec fulminantis magna Iovis manus*.

Она сделалась госпожой своих страстей и желаний; она властвует над нуждой, унижением, нищетой и всеми прочими превратностями судьбы. Так давайте же, каждый в меру своих возможностей, добиваться столь важного преимущества! Вот где подлинная и ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол и смеяться над тюрьмами и оковами:

in manicis, et
Compedibus, saevo te sub custode tenebo.
Ipse deus simul atque volam, me solvet: opinor
Hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum est**.

Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ли бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды

* Ничто не в силах поколебать стойкость его души: ни взгляд грозного тирана, ни Австр [южный ветер], буйный владыка бурной Адриатики, ни мощная рука громовержца Юпитера (лат.). Гораций. Оды, III, 3, 3—6.

** «В наручниках и сковав тебе ноги, я буду держать тебя во власти сурового тюремщика». — «Сам бог, как только я захочу, освободит меня». Полагаю, он думал при этом: «Я умру». Ибо со смертью — конец всему (лат.). Гораций. Послания, I, 16, 76—78.

смерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа».

Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений!

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.

Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеет ли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечною вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов вечера умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных.

Впрочем, природа не дает нам зажитья. Она говорит: «Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенной порядка; она звено мировой жизни:

inter se mortales mutua vivunt
Et quasi cursores vitae lampada tradunt*.

Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть — обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то, значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать:

* Смертные перенимают жизнь одни у других... и словно скороходы, передают один другому светильник жизни (лат.). Лукреций, II, 76—77.

Prima, quae vitam dedit, hora, carpsit*.

Nascentes morimur, finisque ab origine pendet**.

Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

Или, если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее, умирая; смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже.

Если вы познали радости жизни, вы успели насытиться ими; так уходите же с удовлетворением в сердце:

Cur non ut plenus vitae conviva recedis?***

Если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поспешила для вас, что вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?

Cur amplius addere quaeris

Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne?****

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство Вселенной — все это то же, от чего вкусили праншеры ваши и что взрастит ваших потомков:

Non alium videre patres: aliumve nepotes
Aspicient*****.

И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрасты мира: детство,

* Первый же час, давший нам жизнь, укоротил ее (лат.). Сенека. Неист. Герк., III, 874.

** Рождаясь, мы умираем; конец обусловлен началом (лат.). Манилий. IV, 16.

*** Почему же ты не уходишь из жизни, как пресыщенный сотрапезник [с пира]? (лат.). Лукреций, III, 998.

**** Почему же ты стремишься продлить то, что погибнет и осуждено на бесследное исчезновение? (лат.). Лукреций, III, 941—942.

***** Это то, что видели ваши отцы, это то, что будут видеть потомки (лат.). Манилий, I, 522—523.

юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда:

versamur ibidem, atque insumus usque
Atque in se sua per vestigia volvitur annus*.

Или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-то новые развлечения?

Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque
Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper**.

Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвым. Все усилия здесь беспечны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы:

licet, quod vis, vivendo vincere saecula,
Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit***.

И я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких огорчений:

In vera nescis nullum fore morte alium te,
Qui possit vivus tibi te lugere peremptum.
Stansque iacentem****.

И не будете желать жизни, о которой так сожалеете:

Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,
Nec desiderium nostri nos afficit ullum*****.

Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее:

* Мы вращаемся и пребываем всегда среди одного и того же... И к себе по своим же следам возвращается год (лат.). Вергилий. Георгики, II, 402.

** Ибо, что бы я [Природа] ни придумала, что бы я ни измыслила, нет ничего такого, что тебе бы не понравилось, все всегда остается тем же самым (лат.). Лукреций, III, 944—945.

*** Можно побеждать сколько угодно жизнью века, — все равно тебе предстоит вечная смерть (лат.). Лукреций, III, 1090—1091.

**** Неужели ты не знаешь, что после истинной смерти не будет второго тебя, который мог бы, живой, оплакивать тебя, умершего, стоя над лежащим (лат.). Лукреций, III, 885—887.

***** И тогда никто не заботится ни о себе, ни о жизни... и у нас нет больше печали о себе (лат.). Лукреций, III, 919, 922.

multo mortem minus ad nos esse putandum
Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus*.

Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому, что вы существуете; когда умерли — потому, что вас больше не существует.

Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения; и ваше дело тут — сторона:

Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas
Temporis aeterni fuerit**.

Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало; не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберетесь туда, куда идете, не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешение в доброй компании, то не идет ли весь мир той же стезею, что вы?

Omnia te vita perfuncta sequentur***.

Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами? Существует ли что-нибудь, что не старилось бы вместе с вами? Тысячи людей, тысячи животных, тысячи других существ умирают в то же мгновение, что и вы:

Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est,
Quae non audierit mistos vagitibus aegris
Ploratus, mortis comites et funeris atrii****.

Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился благодаря этому от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами ни на себе, ни на другом. По-

* нужно считать, что смерть для нас — нечто гораздо меньшее, — если только может быть меньшее, — чем то, что, как видим, является ничем (лат.). Лукреций, III, 926—927.

** Ибо, заметь, вечность минувших времен для нас совершеннейшее ничто (лат.). Лукреций, III, 972—973.

*** И прожив свою жизнь, все последуют за тобой (лат.). Лукреций, III, 968.

**** Не было ни одной ночи, сменившей собой день, ни одной зари, сменившей ночь, которым не пришлось бы услышать смешанные с жалобным плачем малых детей стенания, этих спутников смерти и горестных похорон (лат.). Лукреций, II, 578—580.

чему же ты жалуешься и на меня, и на свою участь? Разве мы несправедливы к тебе? Кому же надлежит управлять: нам ли тобою или тебе нами? Еще до завершения сроков твоих, жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой.

Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я от вас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали от смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными.

Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же в таком случае он все-таки не умирает, он весьма мудро ответил: «Именно потому, что это одно и то же».

Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшиться тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости, он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней».

Таковы благие наставления нашей родительницы-природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нас самих или кого-либо иного, — кажется нам несравненно менее страшной, чем у себя дома; в противном случае армия состояла бы из одних плакс да врачей; и еще: почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы ее видим и которые порождают в нас страх еще больший, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены, детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, их заплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у нашего изголовья! Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих юных приятелей, когда видят их в маске, — то же происходит и с нами. Нужно сорвать

эту маску как с вешей, так, тем более, и с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благодатна смерть, не давшая времени для этих пышных приготовлений.

Глава 23

**О ПРИВЫЧКЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОДОБАЕТ
БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ МЕНЯТЬ
УКОРЕНИВШИЕСЯ ЗАКОНЫ**

И действительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть над нами, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется в нас, пока, наконец, не сбрасывает покрыва со своего властного и деспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляд. Мы видим, что она постоянно нарушает установленные самой природой правила.

Платон разбил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрою в бабки. Тот ответил ему: «Ты бранишь меня за бездельицу». — «Привычка, — сказал на это Платон, — совсем не бездельица».

Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой

NB *Большинство современных детей видятся и общаются со своими родителями эпизодически, за столом во время ужина или в воскресные дни. И у каждого родителя есть оправдание: «Я занят на работе...», «Я для тебя...», «Ты видишь, я читаю газету... или смотрю телевизор...» и т.п. Действительно, ритм современной жизни ставит все больше и больше проблем. Но потребность в общении с родителями у детей эпохи Монтеня и у современных ребятишек не исчезает с годами. Она лишь постепенно притупляется, а затем «уходит». И через годы на-*

степени безрассуден, что, видя, как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрый признак воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынок одурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущей его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незна-

ступает отчужденность между родителями и детьми, непонимание друг друга. Родители забывают, что время, когда ребенок задавал вопросы и нуждался в совете, ушло навсегда. Он уже сам нашел ответы на многие вопросы; правильные или нет — зависит от того, кто на них отвечал, каким опытом поделился, к какому мировоззрению, каким ценностям приобщил, какие привычки заложил и т.д.

Обида многих родителей совершенно искренняя: «Все ведь для тебя... Я не отдыхал, а ты...». И это правда. Но дети не прощают долгого одиночества. Поэтому родители с первых дней жизни своего ребенка должны для себя решить, что важнее — материальное благополучие или мир в душе растущего человека, ориентация его на потребление или на созидание, на совместную жизнь людей разных поколений и их взаимодействие или на одинокую старость.

чительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока он не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гадким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких эю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: «Почему такому-то не обмануть на целый эю, коль скоро он обманывает на одно су?» — вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целый эю». Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о пороках, какую бы личину они ни носили, была им ненавистна. Я убежден, что если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить,

что игры детей — вовсе не игры и что правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываю с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублионы, и тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить, как подобает, мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливых представлениях, которые она создает в наших душах, по-

скольку они меньше сопротивляются ей. Чего только не в силах сделать она с нашими суждениями и верованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось (я не говорю уже о грубом обмане, лежащем в основе многих религий и одурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределами человеческого разумения, и на кого не снизошла благодать Божья, тому недолго и заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливо это древнее восклицание: *Non pudet physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis!** Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для нас нисколько не большее чудо, нежели мы сами для них, да к этому и нет никаких оснований; это признал бы каждый, если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями, остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик, — а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии, — примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума.

Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой природой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или следуя им, не воздавать себе похвалы.

Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию, молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.

Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: она связывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удастся нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость, необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самом деле, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким,

* Не стыдно ли физику, т.е. исследователю и испытателю природы, искать свидетельство истины в душах, поработанных обычаем! (лат.). Цицерон. О пр. бог., I, 30.

каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые разделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими и естественными.

Отсюда и проистекает, что все отклонения от обычая считаются отклонениями от разума, — и одному Богу известно, насколько, по большей части, неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, что мы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленно разобраться, в какой мере оно применимо к нему самому, — и тогда он понял бы, что это не только меткое слово, но и меткий удар бича по глупости его обычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желает воспринимать как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и вместо того, чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя в памяти, а это — занятие весьма нелепое и бесполезное.

Надо правду сказать, целомудрие — прекрасная добродетель, и как велика его польза — известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычаи, законы и предписания. Обосновать изначальные и всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам, торопятся поскорее уйти подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этих вопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжаты от преисполняющего их чванства и торжествуют.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько потесниться и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободой действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно.

Глава 25

О ПЕДАНТИЗМЕ

В детстве моем я нередко досадовал на то, что в итальянских комедиях педанты — неизменно шуты, да и между нами слово «магистр» пользуется не большим почетом и уважением. Отданный под их надзор и на их попечение, мог ли я безразлично относиться к их добродушию? Я пытался найти объяснение этому в естественной неприязни, существующей между невеждами

и людьми, не похожими на остальных и выделяющимися своим умом и знаниями, тем более что они идут совсем иною дорогою, чем все прочие люди. Но меня совершенно ставило в тупик то, что самые тонкие умы больше всего и презирают педантов; например, добрейший наш Дю Белле, сказавший:

Но ненавистен мне ученый вид педанта.

Так уже повелось издавна; ведь еще Плутарх говорил, что слова «грек» и «ритор» были у римлян бранными и презрительными. В дальнейшем, с годами, я понял, что подобное отношение к педантизму в высшей степени обоснованно и что *magis magnos clericos, non sunt magis magnos sapientes*. Но каким образом может случиться, чтобы душа, обогащенная знанием столь многих вещей, не становилась от этого более отзывчивой и живой, и каким образом ум грубый и пошлый способен вмещать в себя, нисколько при этом не совершенствуясь, рассуждения и мысли самых великих мудрецов, когда-либо живших на свете, — вот чего я не возьму в толк и сейчас.

Чтобы вместить в себя столько чужих мозгов и к тому же таких великих и мощных, необходимо (как выразилась о ком-то одна девица, первая среди наших принцесс), чтобы собственный мозг потеснился, съезжился и сократился в объеме.

Я готов утверждать, что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники — от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загромаженный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Но в действительности дело обстоит иначе, ибо чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится, и среди тех, кто жил в стародавние времена, можно встретить, напротив, немало людей, прославившихся на общественном поприще, — например великих полководцев или государственных деятелей, отличавшихся вместе с тем и большою ученостью.

Что до философов, уклонявшихся от всякого участия в общественной жизни, то недаром их порою высмеивала без всякого стеснения современная им комедия, ибо их мнения и повадки действительно казались забавными. Угодно вам сделать их судьями, которые вынесли бы приговор по чьей-либо тяжбе или оценили действия того или иного лица? О, они с великой готовностью возьмутся за это! Прежде всего они займутся такими вопросами, как: существует ли жизнь, существует ли движение? Представляет ли собой человек нечто иное, чем бык? Что значит действовать и страдать? Что это за звери — законы и правосудие? Говорят ли они о правителях за глаза или беседуют с ними лично, — речи их равно дерзки и непочтительны. Слышат ли они похвалы своему князю или царю, — для них он не более чем пастух, праздный, как все пастухи, занятый исключительно тем,

что стрижет и доит свое стадо, только еще более грубый. Считаете ли вы кого-нибудь стоящим выше других по той причине, что ему принадлежат две тысячи арпанов земли, — они начинают издеваться над этим, ибо привыкли рассматривать весь мир как свою собственность. Гордитесь ли вы своей знатностью на том основании, что можете насчитать семь богатых предков, — они не ставят вас ни во что, ибо вы не постигли, по их мнению, общей картины природы и забыли, сколько каждый из нас насчитывает в своей родословной предшественников, богатых и бедных, царей и слуг, просвещенных людей и варваров. И будь вы даже в пятидесятом колене потомком Геркулеса, они и в этом случае скажут, что вы суетны, если цените этот подарок судьбы. Вот в этом и заключается причина презрения, которое к ним питает толпа, как к людям, не понимающим самых простых общеизвестных вещей, притом заносчивым и надменным. Но это принадлежащее Платону изображение весьма далеко от того, что представляют собою наши педанты; философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой особый лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими всеобщего распространения правилами. наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего уровня, не способны выполнять общественные обязанности и, наконец, придерживаются образа жизни и нравов еще более грубых и низменных, нежели нравы и образ жизни толпы.

Odi homines ignava opera, philosopha sententia.*

Так вот, что до философов древности, то они, по моему мнению, великие в мудрости, проявляли еще больше величия в своей жизни. Таков был, судя по рассказам, великий сиракузский геометр, который отвлекся от своих ученых разысканий, дабы применить их отчасти на практике для защиты своей родины, когда он неожиданно пустил в ход диковинные машины, действие которых превосходило все, что в состоянии вообразить человек. Но сам он глубоко презирал свои изобретения, считая, что, занявшись ими, унизил свою науку, для которой они были не более как ученические упражнения или игрушки. Таким образом, эти мудрецы всякий раз, когда им приходилось подвергать себя испытанию действием, взлетали на огромную высоту, и всякому делалось ясно, что их сердца и их души возвысились и обогатились столь поразительным образом благодаря познанию сути вещей. Некоторые, однако, видя, что важнейшие должности в государстве заняты людьми неспособными, отказались от служения обществу, и тот, кто спросил Кратеса, доколе

* Я ненавижу людей, не пригодных к делу и при этом пространно рассуждающих (лат.). Стих Пакувия, который цитирует Авл Геллий (XIII, 8).

же следует философствовать, услышал в ответ: «Пока погонщики ослов не перестанут стоять во главе нашего войска». Гераклит отказался от царства, уступив его брату, и ответил эфесцам, порицавшим его за то, что он отдает все свое время играм с детьми перед храмом: «Разве это не лучше, чем вершить дела совместно с вами?» Иные, вознесясь мыслью над мирскими делами и судьбами, сочли не только судейские кресла, но и самые царские троны чем-то низменным и презренным. Отказался же Эмпедокл от престола, который ему предлагали жители Агригента. Фалесу, который неоднократно обличал скопидомство и жадность обогащения, бросили упрек в том, что он, как лисица в басне, чернит то, до чего не может добраться. И вот однажды ему захотелось забавы ради произвести опыт; унизив свою мудрость до служения прибыли и наживе, он начал торговлю, которая в течение года доставила ему такие богатства, какие с превеликим трудом удавалось скопить за всю жизнь людям, наиболее опытным в делах подобного рода.

Аристотель рассказывает, что некоторые называли Фалеса Анаксагора и прочих подобных им мудрецами, но людьми отнюдь не разумными, по той причине, что они проявляли недостаточную заботу в отношении более полезных вещей. Но, не говоря о том, что я не очень-то улавливаю разницу между значениями этих двух слов, сказанное ни в какой мере не могло бы послужить к оправданию наших педантов: зная, с какой низкой и бедственной долей они мирятся, мы скорее имели бы основание применять к ним оба эти слова, сказав, что они и не мудры, и не разумны.

Я не разделяю мнения тех людей, о которых говорит Аристотель; мы были бы ближе к истине, я полагаю, если бы сказали, что

NB Многие поколения учеников сталкиваются с проблемой поиска средств, обеспечивающих личностное принятие знаний учениками, с тем чтобы не только заполнить их память, но и обеспечить развитие мышления, способов деятельности, речи и вызвать стремление к творчеству. Сегодня мы имеем богатый арсенал методов обучения и образовательных технологий, обеспечивающий повышение качества школьного образования, — это и проблемные, эвристические методы обучения, диа-

все зло — в их неправильном подходе к науке. Принимая во внимание способ, которым нас обучают, неудивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость. И в самом деле, заботы и издержки наших отцов не преследуют другой цели, как только забить нашу голову всевозможными знаниями; что до разума и добродетели, то о них почти и не помышляют. Крикните нашей толпе о ком-нибудь из мимонидущих: «Это ученый муж!», и о другом: «Это человек, исполненный добродетели!» — и она не преминет обратить свои взоры и свое уважение к первому. А следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул: «О, тупые головы! Мы постоянно

логовые и игровые, задачные и междисциплинарные технологии. Но, безусловно, в любые времена, как бы ни ускорялся в мире процесс обновления информации, необходимостью для усвоения обучающимися, вечными останутся образовательно-воспитательные ценности — ученость (образованность), мудрость и добродетель человека.

кав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру.

До чего же, однако, я сам могу служить примером той же глупости! Разве не то же делаю и я в большей части этого сочинения? Я продвигаюсь вперед, выхватывая из той или другой книги понравившиеся мне изречения не для того, чтобы сохранить их в себе, ибо нет у меня для этого кладовых, но чтобы перенести их все в это хранилище, где, говоря по правде, они не больше принадлежат мне, чем на своих прежних местах. Наша ученость — так, по крайней мере, считаю я — состоит только в том, что мы знаем в это мгновение; наши прошлые знания, а тем более будущие тут ни при чем.

Но что еще хуже, ученики и птенцы наших педантов не насыщаются их наукой и не усваивают ее; она лишь переходит из рук в руки, служа только для того, чтобы ею кичились, развлекали других и делали из нее предмет занятого разговора, она вроде счетных фишек, непригодных для иного употребления и использования, кроме как в счете или в игре: *Apud alios loqui didicerunt, non ipsi secum**. — *Non est loquendum, sed gubernandum***.

Природа, стремясь показать, что в подвластном ей мире не существует ничего дикого, порождает порой среди мало просвещенных народов такие жемчужины остроумия, которые могут поспорить с наиболее совершенными творениями искусства. Как хороша и как подходит к предмету моего рассуждения следующая гасконская поговорка: «*Bouha prou bouha, mas a remuda lous ditz qu'em*». — «Все дуть да дуть, но нужно же и пальцами перебирать» (речь идет об игре на свирели).

Мы умеем сказать с важным видом: «Так говорит Цицерон» или «Таково учение Платона о нравственности», или «Вот под-

спрашиваем: знает ли такой-то человек греческий или латынь? Пишет ли он стихами или прозой? Но стал ли он от этого лучше и умнее, — что, конечно, самое главное, — этим мы интересуемся меньше всего. А между тем надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше.

Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают птенцам; так и наши педанты, ната-

* Они научились говорить перед другими, но не с самими собой (лат.). Цицерон. Туск., V, 36.

** Нужно не разговаривать, а действовать (лат.). Сенека. Письма, 108, 37.

линные слова Аристотеля». Ну а мы-то сами, что мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы сказать и попугай. По этому поводу мне вспоминается один римский богач, который, не останавливаясь перед затратами, приложил немало усилий, чтобы собрать у себя в доме сведущих в различных науках людей; он постоянно держал их подле себя, чтобы в случае, если речь пойдет о том или другом предмете, один мог выступить вместо него с каким-нибудь рассуждением, другой — прочесть стих из Гомера, словом, каждый по своей части. Он полагал, что эти знания являются его личною собственностью, раз они находятся в головах принадлежащих ему людей. Совершенно так же поступают и те, ученость которых заключена в их роскошных библиотеках.

Я знаю одного такого человека: когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя бы хорошо ему известном, он немедленно требует книгу, чтобы отыскать в ней нужный ответ.

Мы берем на хранение чужие мысли и знания, только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными. Мы уподобляемся человеку, который, нуждаясь в огне, отправился за ним к соседу и, найдя у него прекрасный, яркий огонь, стал греться у чужого очага, забыв о своем намерении разжечь очаг у себя дома. Что толку набить себе брюхо говядиной, если мы не перевариваем ее, если она не преобразуется в ткани нашего тела, если не прибавляет нам веса и силы? Или, быть может, мы думаем, что Лукулл, ознакомившийся с военным делом только по книгам и сделавшийся, несмотря на отсутствие личного опыта, столь видным полководцем, изучал его по нашему способу?

Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что в конце концов обессиливаем. Хочу ли я победить страх смерти? Я это делаю за счет Сенеки. Стремлюсь ли утешиться сам или утешить другого? Я черпаю из Цицерона. А между тем я мог бы обратиться за этим к себе самому, если бы меня надлежащим образом воспитали. Нет, не люблю я этого весьма относительного богатства, собранного с миру по нитке.

И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

Дионисий издевался над теми грамматиками, которые со всей тщательностью изучают бедствия Одиссея, но не замечают своих собственных; над музыкантами, умеющими настроить свои флейты, но не знающими, как внести гармонию в свои нравы; над ораторами, старающимися проповедовать справедливость, но не соблюдающими ее на деле.

Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здоровыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по

крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните: вот он возвращается после пятнадцати или шестнадцати лет занятий; найдется ли еще кто-нибудь столь же неприспособленный к практической деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменней и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, — вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиться, а она у него только раздулась.

Наши учителя, подобно своим братьям-софистам, о которых это же самое говорит Платон, среди всех прочих людей — те, которые обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же — среди всех прочих людей — единственные, которые не только не совершенствуют отданной им в обработку вещи, как делают, например, каменщик или плотник, а напротив, портят ее и притом требуют, чтобы им заплатили за то, что они привели ее в еще худшее состояние.

Если бы у нас было принято правило, предложенное Протатором тем, кто у него обучался, а именно: либо они платят ему, сколько бы он ни назначил, либо под присягою заявляют во всеуслышание в храме, во сколько сами оценивают пользу от занятий с ним, и в соответствии с этим вознаграждают его за труд, то мои учителя не разбогатели бы, получив плату на основании принесенной мною присяги.

Мои земляки перигорцы очень метко называют таких ученых мужей — *lettreferits* [окниженные], вроде того как по-французски сказали бы *lettreferus*, то есть те, кого наука как бы оглушила, стукнув по черепу. И действительно, чаще всего они кажутся нам пришибленными, лишенными даже самого обыкновенного здравого смысла. Возьмите крестьянина или сапожника: вы видите, что они просто и не мудрствуя лукаво живут помаленьку, говоря только о тех вещах, которые им в точности известны. А наши ученые мужи, стремясь возвыситься над остальными и щегольнуть своими знаниями, на самом деле крайне поверхностными, все время спотыкаются на своем жизненном пути и попадают впросак. Они умеют красно говорить, но нужно, чтобы кто-то другой применил их слова на деле. Они хорошо знают Галена, но совершенно не знают больного. Еще не разобравшись, в чем суть вашей тяжбы, они забивают вам голову целою кучей законов. Им известна теория любой вещи на свете; надо только найти того, кто применил бы ее на практике.

Мне довелось как-то наблюдать у себя дома, как один из моих друзей, встретившись с подобным педантом, принялся, развлекая ради, подражать их бессмысленному жаргону, нанизывая без всякой связи учнейшие слова, нагромождая их одно на другое и лишь время от времени вставляя выражения, относящиеся к предмету их диспута. Целый день заставлял он этого дурака, воображавшего, будто он отвечает на возражения, которые

ему делают, вести нескончаемый спор. А ведь это был человек высокоученый, пользовавшийся известностью и занимавший видное положение.

Vos, o patricius sanguis, quos vivere par est
Occipiti caeco, posticae occurrите sannae*.

Кто присмотрится внимательнее к этой породе людей, надо сказать, довольно распространенной, тот найдет, подобно мне, что чаще всего они не способны понять ни самих себя, ни других, и что, хотя память их забита всякой всячиной, в голове у них совершенная пустота, — кроме тех случаев, когда природа сама не пожелала устроить их иначе. Таков был, например, Адриан Турнеб. Не помышляя ни о чем другом, кроме науки, в которой, по моему мнению, он должен почитаться величайшим гением за последнее тысячелетие, он не имел в себе ничего от педанта, за исключением разве покроя платья и кое-каких привычек, не поощряемых, может быть, при дворе. Впрочем, это мелочи, на которые незачем обращать внимание; я ненавижу наших модников, относящихся нетерпимее к платью с изыском, чем к такой же душе, и судящих о человеке лишь по тому, насколько ловок его поклон, как он держит себя на людях и какие на нем башмаки. По существу же Турнеб обладал самой тонкой и чувствительною душой на свете. Я часто умышленно наводил его на беседу, далекую от предмета его обычных занятий; глаз его был до такой степени зорек, ум так восприимчив, суждения так здравы, что казалось, будто он никогда не занимался ничем иным, кроме военных вопросов и государственных дел. Натуры сильные и одаренные,

queis arte benigna
Ex meliore luto finxit praecordia Titan** —

сохраняются во всей своей цельности, как бы ни коверкало их воспитание. Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас; нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему.

Некоторые наши парламенты, принимая на службу чиновников, проверяют лишь наличие у них нужных знаний; но другие присоединяют к этому также испытание их ума, предлагая высказаться по поводу того или иного судебного дела. Последние, на мой взгляд, поступают гораздо правильнее; хотя необходимо и то и другое и надлежит, чтобы оба эти качества были в наличии, все же, говоря по правде, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи пер-

* О род патрициев! Вы, кому подобает жить, не оборачиваясь назад. Осерегайтесь, как бы не стали потешаться над вами за вашей спиной (лат.). Персий, I, 61.

** Души которых при помощи благостного искусства вылепил из лучшей глины Титан [т.е. Прометей] (лат.). Ювенал, XVI, 34—35.

NB Как хорошо и правильно сказано: «прицепить к душе знания», «нужно, чтобы они пропитали ее насквозь». Мне думается, психологам и педагогам надо искать пути и средства такого «пропитывания» душ детей уже с начальной школы. К сожалению, пока еще в таком ракурсе ни ученые, ни практики не решают эту проблему.

вых, тогда как первые не могут обойтись без ума. Ибо, как гласит греческий стих, к чему наука, если нет разума? Дай бог, чтобы, ко благу нашего правосудия, эти судебные учреждения сделались столь же разумны и совестливы, как они богаты ученостью, *Non vitae, sed scholae discimus**. Ведь дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней; не в том, чтобы окропить ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь; и если она от этого не изменится и не улучшит своей несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на все это рукой. Знания — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться: ut fuerit melius non didicisse**.

Быть может, именно по этой причине и мы сами, и теология не требуем от женщин особых познаний; и когда Франциску, герцогу Бретонскому, сыну Иоанна V, сообщили, ввиду его предполагаемой женитьбы на Изабелле Шотландской, что она воспитана в простоте и не обучена книжной премудрости, он ответил, что ему это как раз по душе и что женщина достаточно образования, если не путает рубашку своего мужа с его курткой.

Поэтому вовсе не так уже удивительно, как об этом кричат повсюду, что науки не очень-то ценились нашими предками и что люди, овладевшие ими, и сейчас еще редкое исключение среди ближайших королевских советников. И если бы всеобщее стремление разбогатеть — чего в наши дни можно достигнуть при помощи юриспруденции, медицины, преподавания да еще теологии, — не поддерживало авторитета науки, мы бы видели ее, без сомнения, в таком же пренебрежении, в каком она находилась когда-то. Как жаль, однако, что она не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать! *Postquam docti prodierunt, boni desunt***.*

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считаю тех весьма немногих лиц, которые, будучи созданы самой природой для занятий скорей благо-

* Мы учимся не для жизни, а для школы (лат.). Сенека. Письма, 106, 12.

** Так что было бы лучше совсем не учиться (лат.). Цицерон. Туск., II, 4.

*** После того как появились люди ученые, нет больше хороших людей (лат.). Сенека. Письма, 95, 13.

NB *Монтень прав, говоря об ответственности педагогов за разрыв между знаниями и их носителями. Эта проблема остается и поныне актуальной — как сделать знания личностно значимыми для обучающегося и полезными для жизни. «К чему наука, если нет разума?» Мы — свидетели того, насколько опасны могут быть для общества, человека и сохранения мира на земле знания, попавшие в неразумную голову. А ведь это потому, что не все «постигают науки добра». Думается, нам, педагогам, надо серьезнее и глубже знакомиться с практикой воспитания и образования человека разных эпох, цивилизаций с тем, чтобы решать задачи обучения и воспитания в единстве и так же, как Агесилай, отвечать на вопрос, чему следует обучать детей: «Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми», в — XXI веке.*

родных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке; иные из них, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, по-настоящему уходят в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей, и от природы, и вследствие домашнего воспитания, а также под влиянием дурных примеров, наука приносит чаще всего дурные плоды. Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого; ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он располагает здоровыми и способными передвигаться ногами. Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраниться, не подвергаясь порче и изменению, если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да на беду он косит; вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям.

Из рассказа Ксенофонта о замечательном воспитании, которое давалось детям у персов, мы узнаем, что они обучали их добродетели, как другие народы обучают детей наукам. Платон говорит, что старшие сыновья их царей воспитывались следующим образом: новорожденного отдавали не на попечение женщин, а тех евнухов, которые по причине своих добродетелей пользовались расположением царской семьи. Они следили за тем, чтобы тело ребенка было красивым и здоровым, и на восьмом году начинали приучать его к верховой езде и охоте. Когда мальчику исполнялось четырнадцать лет, его передавали под надзор четырех воспитателей: самого мудрого, самого справедливого, самого умеренного и самого доблестного в стране. Первый обучал его религиозным верованиям и обрядам, второй — никогда не лгать, третий — властвовать над своими страстями, четвертый — ничего не страшиться.

Весьма примечательно, что в превосходном своде законов Ликурга, можно сказать, исключительно по своему совершен-

ству, так мало говорится об обучении, хотя воспитанию молодежи уделяется весьма много внимания и оно рассматривается как одна из важнейших задач государства, причем законодатель не забывает даже о музах; выходит, будто это благородное юношество, презиравшее всякое другое ярмо, кроме ярма добродетели, нуждалось вместо наших преподавателей различных наук лишь в учителях доблести, благоразумия и справедливости, — образец, которому последовал в своих законах Платон. Обучали же их следующим образом: обычно к ним обращались с вопросом, какого они мнения о тех или иных людях и их поступках, и если они осуждали или, напротив, хвалили то или иное лицо или действие, их заставляли обосновать свое мнение; этим путем они изощряли свой ум и вместе с тем изучали право. Астиаг, у Ксенофонта, требует от Кира отчета обо всем происшедшем на последнем уроке. «У нас в школе, — говорит тот, — мальчик высокого роста, у которого был слишком короткий плащ, отдал его одному из товарищей меньшего роста, отобрав у него более длинный плащ. Учитель велел мне быть судьей в возникшем из-за этого споре, и я решил, что все должно остаться как есть, потому что случившееся наилучшим образом устраивает и того и другого из тяжущихся. На это учитель заметил, что я не прав, ибо ограничился соображениями удобства, между тем как сначала следовало решить, не пострадает ли справедливость, которая требует, чтобы никто не подвергался насильственному лишению собственности». Мальчик добавил, что его высекали, совсем так, как у нас секут детей в деревнях за то, что забыл, как будет первый аорист глагола *τύπτο* [я бью]. Моему ректору пришлось бы произнести искуснейшее похвальное слово *in genere demonstrativo**, прежде чем он убедил бы меня в том, что его школа не уступает описанной. Древние хотели сократить путь и, — поскольку никакая наука, даже при надлежащем ее усвоении, не способна научить нас чему-либо большему, чем благоразумию, честности и решительности, — сразу же привить их своим детям, обучая последних не на слух, но путем опыта, направляя и формируя их души не столько наставлениями и словами, сколько примерами и делами, с тем, чтобы эти качества не были восприняты их душой как некое знание, но стали бы ее неотъемлемым свойством и как бы привычкой, чтобы они не ошущались ею как приобретения со стороны, но были бы ее естественной и неотчуждаемой собственностью. Напомню по этому поводу, что когда Агесилая спросили, чему, по его мнению, следует обучать детей, он ответил: «Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми». Неудивительно, что подобное воспитание приносило столь замечательные плоды.

Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и

* В торжественном роде (лат.).

полководцев — только в Лакедемоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь — хорошо действовать; там — стряхивать с себя путы софистических доводов и сопротивляться обману словесных хитросплетений, здесь — стряхивать с себя путы страстей и мужественно сопротивляться смерти и ударам судьбы; там пеклись о словах, здесь — о деле; там непрестанно упражняли язык, здесь — душу. Неудивительно поэтому, что когда Антипатр потребовал у спартанцев выдачи пятидесяти детей, желая иметь их заложниками, их ответ был мало похож на тот, какой дали бы на их месте мы; а именно, они заявили, что предпочитают выдать двойное количество взрослых мужчин. Так высоко ставили они воспитание на их родине и до такой степени опасались, как бы их дети не лишились его. Агесилай убеждал Ксенофонта отправить своих детей на воспитание в Спарту не для того, чтобы они изучали там риторику или диалектику, но для того, чтобы усвоили самую прекрасную (как он выразился) из наук — науку повиноваться и повелевать.

Весьма любопытно наблюдать Сократа, когда он подсмеивается, по своему обыкновению, над Гиппием, который рассказывает ему, что, занимаясь преподаванием главным образом в небольших городах Сицилии, он заработал немало денег и что, напротив, в Спарте он не добыл ни гроша; там живут совершенно темные люди, не имеющие понятия о геометрии и арифметике ничего не смыслящие ни в метрике, ни в грамматике и интересующиеся только последовательностью своих царей, возникновением и падением государств и тому подобной чепухой. Выслушав Гиппия, Сократ постепенно, путем остроумных вопросов, заставил его признать превосходство их общественного устройства, а также насколько добродетельную и счастливую жизнь ведут спартанцы, предоставив своему собеседнику самому сделать вывод о бесполезности для них преподаваемых им наук.

Многочисленные примеры, которые являют нам и это управляемое на военный лад государство, и другие подобные ему, заставляют признать, что занятия науками скорее изнеживают души и способствуют их размягчению, чем укрепляют и закаляют их. Самое мощное государство на свете, какое только известно нам в настоящее время, — это империя турок, народа, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам. Я полагаю, что и Рим был гораздо могущественнее, пока там не распространилось образование. И в наши дни самые воинственные народы являются вместе с тем и самыми дикими и невежественными. Доказательством могут служить также скифы, парфяне, Тамерлан. Во время нашего вояжа готов на Грецию ее библиотеки не подверглись сожжению только благодаря тому из завоевателей, который счел за благо оставить всю эту утварь, как он выразился, неприятелю, дабы она отвлекла его от военных упражнений и склонила к мирным и оседлым забавам. Когда наш король Карл VIII, не извлекая даже меча из ножен, увидел себя властелином

Неаполитанского королевства и доброй части Тосканы, его приближенные приписали неожиданную легкость победы только тому, что государи и дворянство Италии прилагали гораздо больше усилий, чтобы стать утонченными и образованными, чем чтобы сделаться сильными и воинственными.

Глава 26

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истинной. И не потому, — если только его не ослепило окончательное отцовское чувство, — чтобы он не замечал этих недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я: ведь я вижу лучше, чем кто-либо другой, что эти строки — не что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки, да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об ее облике: капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырех частей математики, а также, весьма приблизительно, в чем именно состоит их предмет. Я знаю еще, что науки, вообще говоря, притязают на служение человечеству. Но углубиться в их дебри, грызть себе ногти за изучением Аристотеля, властителя современной науки, или уйти с головою в какую-нибудь из ее отраслей, — этого со мною никогда не бывало; и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы вправе сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков; во всяком случае, это зависело бы от содержания такового. Если бы меня все же принудили к этому, то, не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, и притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности ученика, — испытание, для него столь же неведомое, как его урок для меня.

История — та дает мне больше поживы; также и поэзия, к которой я питаю особую склонность. Ибо, как говорил Клеанф, подобно тому, как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой. Что до моих природных способностей, образчиком которых являются эти строки, то я чувствую, как они изнемогают под бременем этой задачи. Мой ум и мысль бредут ощупью, поша-

тываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удастся достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворен достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаюсь рассуждать без разбора обо всем, что только приходит мне в голову, не прибегая к сторонней помощи и полагаясь только на свою сообразительность, то, если при этом мне случается — а это бывает не так уж редко — встретить, на мое счастье, у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить (так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения), я начинаю понимать, насколько, по сравнению с такими людьми, я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял, — и тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями и что они подтверждают, пусть издали, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю — а это не всякий может сказать про себя, — какая пропасть лежит между ними и мною. И все же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласно-

ВВ *«Уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой...» — это не относится к уважаемому и высокочтимому М.Монтеню. Напротив, де Монтень представляет собой образец довольно критического отношения к себе и к своим текстам, а с другой стороны — уважительного отношения к признакам глубокого почтения к мудрости великих древних мыслителей и преклонения перед ней. Его искренность и открытость подкупает и восхищает: «Если бы я писал эту книгу, чтобы снять благоволение света, я бы принарядился и покатал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого».*

сти эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в том самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подштопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться идти бок о бок с такими людьми. Пустоголовые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения чуть ли не целые разделы из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. Ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать — а это я делаю весьма часто — чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища. Я-то хорошо знаю, сколь дерзновенно пытаюсь я всякий раз сравняться с обворованными мной авторами, не без

смелой надежды обмануть моих судей: авось они ничего не заметят. Но я достигаю этого скорее благодаря прилежанию, нежели с помощью воображения. А кроме того, я не борюсь с этими испытанными бойцами по-настоящему, не схожусь с ними грудь с грудью, но делаю время от времени лишь небольшие легкие выпады. Я не упорствую в этой схватке; я только соприкасаюсь со своими противниками и скорее делаю вид, что соревнуюсь с ними, чем в действительности делаю это.

В Автору удалось выразить то, о чем думало все поколение.

Что до меня, то нет ничего, чего бы я столь же мало желал. Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя.

Я ставлю своею целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим, если узнаю что-нибудь новое, способное произвести во мне перемену. Я не пользуюсь достаточным авторитетом, чтобы каждому моему слову верили, да и не стремлюсь к этому, ибо сознаю, что слишком дурно обучен, чтобы учить других.

Но, говоря по правде, я ничего о названном выше предмете не разумею, кроме того, пожалуй, что с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: невелика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как же их вырастить и воспитать.

Склонности детей в раннем возрасте проявляются так слабо и так неотчетливо, задатки их так обманчивы и неопределенны, что составить себе на этот счет определенное суждение очень трудно.

Взгляните на Кимона, взгляните на Фемистокла и стольких других! До чего не похожи были они на себя в детстве! В медвежатах или щенках сказываются их природные склонности; люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и к тому же скрывают свой подлинный облик.

Трудно поэтому преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит, что, вследствие ошибки в выборе правильного пути, зачастую тратят даром труд и время на

В Натаскивание детей — термин сегодняшнего дня.

натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить. Я считаю, что в этих затруднительных об-

стоятельствах нужно неизменно стремиться к тому, чтобы направить детей в сторону наилучшего и полезнейшего, не особенно полагаясь на легковесные предзнаменования и догадки, которые мы извлекаем из движений детской души. Даже Платон, на мой взгляд, придавал им в своем «Государстве» чрезмерно большое значение.

Сударыня, наука — великое украшение и весьма полезное орудие, особенно если им владеют лица, столь облаканные судьбой, как вы. Ибо, поистине, в руках людей низких и грубых она не может найти надлежащего применения. Она неизмеримо больше гордится в тех случаях, когда ей доводится предоставлять свои средства для ведения войн или управления народом, для того чтобы поддерживать дружеское расположение чужеземного государя и его подданных, чем тогда, когда к ней обращаются за доводом в философском споре или чтобы выиграть тяжбу в суде или прописать коробочку пилюль. Итак, сударыня, полагая, что, воспитывая ваших детей, вы не забудете и об этой стороне дела, ибо вы и сами вкусили сладость науки и принадлежите к высокопросвещенному роду (ведь сохранились произведения графов де Фуа, от которых происходит и господин граф, ваш супруг, и вы сами, да и господин Франсуа де Кандаль, ваш дядюшка, и ныне еще всякий день трудится над сочинением новых, которые продлят на многие века память об этих дарованиях вашей семьи), я хочу сообщить вам на этот счет мои домыслы, противоречащие общепринятым взглядам, — вот и все, чем я в состоянии услужить вам в этом деле.

В *Обязанности наставника. В свое время я давала школьникам задание: создать модель идеального, с их точки зрения, учебного заведения и нарисовать портрет идеального учителя и идеального ученика. В ходе такой работы ученики должны были вычленить профессиональные и личностные качества, которыми должны обладать *magister* и *meus discipulus diligens*.*

В числе профессиональных требований к учителю мои ученики предъявили знания своего предмета, умение сделать его интересным и понятным, а также умение приобщить их к поис-

Обязанности наставника, которого вы дадите вашему сыну — учитывая, что от его выбора в конечном счете зависит, насколько удачным окажется воспитание ребенка, — включают в себя также и многое другое, но я не стану на всем этом останавливаться, так как не сумею тут привнести ничего путного. Что же касается затронутого мною предмета, по которому я беру на себя смелость дать наставнику ряд советов, то и здесь пусть он верит мне ровно настолько, насколько мои соображения покажутся ему убедительными. Ребенка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка (ибо подобная цель является низкой и недостойной милостей и покровительства муз и к тому же предполагает искательство и зависимость

ку и научить творчеству. Среди личных достоинств учителя на первом месте оказались терпение и чувство юмора, т.е. умение выйти самому и умело вывести ученика из трудной ситуации без ущемления чувства человеческого достоинства.

Как видно, проблема выбора «наставника для ребенка» (Монтень) или учителя российскими школьниками второй половины XX в. не столь проста и однозначна.

от другого) и не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. Вот почему я хотел бы, чтобы, выбирая ему наставника, вы отнеслись к этому с возможной тщательностью; желательно, чтобы это был человек скорее с ясной, чем с напичканной науками головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; и нужно также, чтобы, исполняя свои обязанности, он применил новый способ обучения.

Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы воспитатель вашего сына отказался от этого обычного приема и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал также своего питомца.

NB Чему учить и как учить? Вечная проблема. Ведь дети-то разные. Казалось бы, это очевидно для всех. Но в каждой современной школе педагоги реализуют один и тот же государственный стандарт. Хорошо это или плохо? Возможен ли при этом индивидуальный подход к каждому ребенку, свобода выбора?

В какой-то мере уже у Монтеня можно найти разумные советы в поиске ответов на поставленные вопросы.

Сократ, а впоследствии и Аркесилай заставляли сначала говорить учеников, а затем уже говорили сами. Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum, qui docent*.

Пусть он заставит ребенка пройтись перед ним и таким образом получит возможность судить о его походке, а следовательно и о том, насколько ему самому нужно умерить себя, чтобы приспособиться к силам ученика. Не соблюдая здесь соразмерности, мы можем испортить все дело; умение отыскать такое соответствие и разумно его соблюдать — одна из труднейших задач, какие только я знаю. Способность снизить до влечений ребенка и

* Желающим научиться чему-либо чаще всего препятствует авторитет тех, кто учит (лат.). Цицерон. О пр. бог., I, 5.

руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной. Что до меня, то я тверже и увереннее иду в гору, нежели спускаюсь с горы.

Если учителя, как это обычно у нас делается, просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе, и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затвержденного урока, но смысл и самую суть его и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит ко множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это; и в последовательности своих разъяснений пусть он руководствуется примером Платона. Если кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил ее, то это свидетельствует о неудобоваримости пищи и о несварении желудка. Если желудок не изменил качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит, он не выполнил своего дела.

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу. Nunquam tutelae suae fiunt*. Я знавал в Пизе одного весьма достойного человека, который настолько почитал Аристотеля, что первейшим его правилом было: «Пробным камнем и основой всякого прочного мнения и всякой истины является их согласие с учением Аристотеля; все, что вне этого, — химеры и суета, ибо Аристотель все решительно предусмотрел и все высказал». Это положение, истолкованное слишком широко и неправильно, подвергло его значительной и весьма долго угрожавшей ему опасности со стороны римской инквизиции.

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдвдбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние: пусть принципы Аристотеля не становятся неизменными основами его преподавания, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.

* Они никогда не выходят из-под опеки (лат.). Сенека. Письма, 33.

Che non men che saper dubiar m'aggrada*.

Ибо, если он примет мнения Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да ничего и не ищет. *Non sumus sub rege; sibi quisque se vindicet***. Главное — чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом древних мыслителей, и не заучивал их наставления. И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Пусть он таит про себя все, что взял у других, и предает гласности только то, что из него создал. Грабители и стяжатели выставляют напоказ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членом парламента; вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почет. Никто не подсчитывает своих доходов на людях; каждый ведет им счет про себя. Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Только рассудок, говорил Эпихарм, все видит и все слышит; только он умеет обратить решительно все на пользу себе, только он располагает всем по своему усмотрению, только он действительно деятелен — он господствует над всем и царит; все прочее слепо, глухо, бездушно. Правда, мы заставляем его быть угодливым и трусливым, дабы не предоставить ему свободы действовать хоть в чем-нибудь самостоятельно. Кто же спрашивает ученика о его мнении относительно риторики и грамматики, о том или ином изречении Цицерона? Их вколачивают в нашу память в совершенно готовом виде, как некие оракулы, в которых буквы

* Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание (*ит.*). Данте. Ад, XI, 93.

** Над нами нет царя; пусть же каждый сам располагает собой (*лат.*). Сенека. Письма, 33, 7.

В Как говорил Шерлок Холмс: «голова — не чердак...».

знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не оглядываясь на хозяина, не заглядывая в книгу. Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость! Я считаю, что она украшение, но никак не фундамент; в этом я следую Платону, который говорит, что истинная философия — это твердость, верность и добросовестность; прочие же знания и все, что направлено к другой цели, — не более как румяна.

Хотел бы я поглядеть, как Палюэль или Помпей — эти превосходные танцовщики нашего времени — стали бы обучать пируетам, только проделывая их перед нами и не сдвигая нас с места. Точно так же многие наставники хотят образовывать наш ум, не будоража его. Можно ли научить управлять конем, владеть копьем, лютней или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому как некоторые хотят научить нас здравым рассуждениям и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассуждениях, ни в речах? А между тем при воспитании в нас этих способностей все, что представляется нашим глазам, стоит назидательной книги; проделка пажа, тушость слуги, застольная беседа — все это новая пища для нашего ума.

В этом отношении особенно полезно общение с другими людьми, а также поездки в чужие края, не для того, разумеется, чтобы, следуя обыкновению нашей французской знати, привозить с собой оттуда разного рода сведения — о том, например, сколько шагов имеет в ширину церковь Санта-Мария Ротонда, или до чего роскошны панталоны синьоры Ливии, или, подобно иным, насколько лицо Нерона на таком-то древнем изваянии

длиннее и шире его же изображения на такой-то медали, но для того, чтобы вывезти оттуда знание духа этих народов и их образа жизни, и для того также, чтобы отточить и отшлифовать свой ум в соприкосновении с умами других. Я бы советовал посылать нашу молодежь за границу в возможно более раннем возрасте и, чтобы одним ударом убить двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка к нашей, так что если не приучить к ней свой язык смолodu, то потом уж никак ее не усвоить.

Недаром все считают, что неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей. Вложенная в послед-

В Поездки за границу (если такая возможность имеется) несомненно имеют культурно-образовательную ценность в развитии личности молодого человека. Эта мысль очень актуальна для нашей отечественной образовательной практики. Такие поездки необходимо тщательно продумывать, включая в них не только программу языковой практики, но и знакомство с историко-культурной средой страны.

них самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. Они не способны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы те узнали тяжелые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям. Они не могут примириться с тем, что их дети после различных упражнений возвращаются потными и перепахавшимися, что они пьют, как придется, — то теплое, то слишком холодное; они не могут видеть их верхом на норовистом коне или фехтующими с рапирой в руке с сильным противником, или когда они впервые берутся за аркебуз. Но ведь тут ничего не поделаешь: кто желает, чтобы его сын вырос настоящим мужчиною, тот должен понять, что молодежь от всего этого не уберечь и что тут, хочешь не хочешь, а нередко приходится поступаться предписаниями медицины:

Vitamque sub dio et trepidis agat
In rebus*.

Недостаточно закалять душу ребенка; столь же необходимо закалять и его тело. Наша душа слишком перегружена заботами, если у нее нет должного помощника; на нее тогда возлагается непосильное бремя, так как она несет его за двоих. Я-то хорошо знаю, как тяжело приходится моей душе в компании со столь нежным и чувствительным, как у меня, телом, которое постоянно ищет ее поддержки. И, читая различных авторов, я не раз замечал, что то, что они выдают за величие духа и мужество, в гораздо большей степени свидетельствует о толстой коже и крепких костях. Мне доводилось встречать мужчин, женщин и даже детей, настолько нечувствительных от природы, что удары палкою значили для них меньше, чем для меня щелчок по носу: получив удар, такие люди не только не вскрикнут, но даже и бровью не поведут. Когда атлеты своею выносливостью уподобляются философам, то здесь скорее сказывается крепость их мышц, нежели твердость души. Ибо привычка терпеливо трудиться — это то же, что привычка терпеливо переносить боль: *Labor callum obducit dolori***. Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заключения в пыток. Ибо надо быть готовым и к этим последним: ведь и иные времена и добрые разделяют порой участь злых. Мы хорошо знаем это по себе! Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой. Добавлю еще, что и авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непрекрасимым, страдает и расшатывается от такого вмешательства родителей. Кроме того, почтительность, кото-

* Пусть он живет под открытым небом среди невзгод (лат.). Гораций. Оды, III, 2, 5.

** Труд притупляет боль (лат.). Цицерон. Туск., II, 15.

рою окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода являются, на мой взгляд, немалыми помехами в правильном воспитании детей этого возраста.

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко сталкивался с одним обычным пороком: вместо того, чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить напоказ себя, и наши заботы направлены скорее на то, чтобы не дать залежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные. Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расхождении знаний, которые он накопит; чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу; пусть он не восстаёт также против общепринятых обычаев. Licet sapere sine pompa, sine invidia*. Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не стремится прослыть человеком, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая. Si quid Socrates et Aristippus contra morem et consuetudinem fecerint, idem sibi ne arbitretur licere: magnis enim illi et divinis bonis hanc licentiam assequebantur**. Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы; его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, отдавая

В Мы знаем, насколько важны круг и атмосфера общения в развитии человека и формировании его мировоззрения. Это общение и с родителями, сверстниками, людьми старшего поколения и, безусловно, с авторами и героями книг о путешествиях, героических подвигах, о рыцарях и бозатырях, о научных открытиях и археологических раскопках. Это позволит молодому поколению лучше понимать природу человека, «добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил» (Монтень), и расширит его кругозор, пробуждая благородную любознательность к другим и стремление познать себя.

* Можно быть ученым без заносчивости и чванства (лат.). Сенека. Письма, 103, 5.

** Если Сократ и Аристипп и делали что-нибудь вопреки установившимся нравам и обычаям, пусть другие не считают, что и им дозволено то же; ибо эти двое получили право на эту вольность благодаря своим великим и божественным достоинствам (лат.). Цицерон. Об обяз., I, 41.

предпочтение наиболее точным, а следовательно и кратким. Но прежде всего пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед нею оружие, лишь только он увидит ее, — независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого. Ведь ему не придется подыматься на кафедру, чтобы читать предписанное заранее. Ничто не обязывает его защищать мнения, с которыми он не согласен. Он не принадлежит к тем, кто продает за паличные денежки право признаваться в своих грехах и каяться в них. Neque, ut omnia quae praescripta et imperata sint, defendat, necessitate ulla cogitur*.

Если его наставником будет человек такого же склада, как я, он постарается пробудить в нем желание быть верноподданным, беззаветно преданным и беззаветно храбрым слугой своего государя; но, вместе с тем, он и охладит пыл своего питомца, если тот проникнется к государю привязанностью иного рода, нежели та, какой требует от нас общественный долг.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своем рассуждении, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и должен стремиться; что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам, и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие, ценные и свойственные философам.

Его следует также наставить, чтобы, бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно не слишком способные и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола, за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или о вкусе мальвазии, упускали много любопытного из того, что говорилось на противоположном конце. Он должен добираться до нутра всякого, кого бы ни встретил — пастуха, каменщика, прохожего; нужно использовать все и взять от каждого по его возможностям, ибо все, решительно все пригодится, — даже чьи-либо глупость и недостатки содержат в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитывает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным.

Пусть в его душе пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему ни встретится, будь то какое-нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происхо-

* И никакая необходимость не принуждает его защищать все то, что предписано и приказано (лат.). Цицерон. Акад. попр., II, 3.

дившей в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий:

Quae tellus sit lenta gelu, quae putris ab aestu,
Ventus in Italiam quis bene vela ferat*.

Пусть он осведомляется о нравах, о доходах и связях того или иного государя. Знакомиться со всем этим весьма занимательно и знать очень полезно.

В это общение с людьми я включаю, конечно, и притом в первую очередь, и общение с теми, воспоминание о которых живет только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иного — праздная трата времени, другому же оно приносит неоценимую пользу. История — единственная наука, которую чтили, по словам Платона, лакедемоняне. Каких только приобретений не сделает он для себя, читая жизнеописания нашего милого Плутарха! Пусть, однако, наш воспитатель не забывает, что он старается запечатлеть в памяти ученика не столько дату разрушения Карфагена, сколько нравы Ганнибала и Сципиона; не столько то, где умер Марцелл, сколько то, почему, окончив жизнь так-то и так-то, он принял недостойную его положения смерть. Пусть он преподаст юноше не столько знания исторических фактов, сколько умение судить о них. Это, по-моему, в ряду прочих наук именно та область знания, к которой наши умы подходят с самыми разнообразными мерками. Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил; Плутарх же — сотни таких, которых не сумел вычитать я и, при случае, даже такое, чего не имел в виду и сам автор. Для одних — это чисто грамматические занятия, для других — анатомия, философия, открывающая нам доступ в наиболее сокровенные тайники нашей натуры. У Плутарха мы можем найти множество пространнейших рассуждений, достойных самого пристального внимания, ибо, на мой взгляд, он в этом великий мастер, но вместе с тем и тысячи таких вещей, которых он касается только слегка. Он всего лишь указывает пальцем, куда нам идти, если мы того пожелаем; иногда он довольствуется тем, что обронит мимоходом намек, хотя бы дело шло о самом важном и основном. Все эти вещи нужно извлечь из него и выставить напоказ. Так, например, его замечание о том, что жители Азии были рабами одного-единственного монарха, потому что не умели произнести один-единственный слог «нет», дало, быть может, Ла Боэси тему и повод к написанию «Добровольного рабства». Иной раз он также отмечает какой-нибудь незначительный с виду поступок человека или его брошенное вскользь словечко, а на деле это стоит целого рас-

* Какая почва застывает от мороза, какая становится рыхлой летом, и какой ветер попутен парусу, направляющемуся в Италию (лат.). Проперций, IV, 3.

суждения. До чего досадно, что люди выдающегося ума так любят краткость! Слава их от этого, без сомнения, возрастает, но мы остаемся внакладе. Плутарху важнее, чтобы мы восхваляли его за ум, чем за знания; он предпочитает оставить нас алчущими, лишь бы мы не ощущали себя пресыщенными. Ему было отлично известно, что даже тогда, когда речь идет об очень хороших вещах, можно наговорить много лишнего и что Александр бросил вполне справедливый упрек тому из ораторов, который обратился к эфорам с прекрасной, но слишком длинной речью: «О чужестранец, ты говоришь то, что должно, но не так, как должно». У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены в себя, замкнулись в себе; наш кругозор крайне узок, мы не видим дальше своего носа. У Сократа как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из Вселенной». Этот мудрец, мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на Вселенную как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, — не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами.

Этот огромный мир, многократно увеличиваемый к тому же теми, кто рассматривает его как вид внутри рода, и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность; а ведь это наука не из особенно легких. Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой.

Наша жизнь, говорил Пифагор, напоминает собой большое и многолюдное сборище на олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, другие тащат туда для продажи товары, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие — и они не из худших, — которые не ищут здесь никакой выгоды: они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то, они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственным образом устроить свою.

За примерами могут естественно последовать наиболее полезные философские правила, с которыми надлежит соразмерять человеческие поступки. Пусть наставник расскажет своему питомцу,

quid fas optare: quid asper
Utile nummus habet; patriae carisque propinquis
Quantum elargiri deceat; quem te deus esse

Iussit, et humana qua parte locatus es in re:
Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur*;

что означает знать и не знать; какова цель познания; что такое храбрость, воздержанность и справедливость; в чем различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободой; какие признаки позволяют распознавать истинное и устойчивое довольство; до каких пределов допустимо страшиться смерти, боли или бесчестия,

Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem**;

какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникают столь разнообразные побуждения. Ибо я полагаю, что рассуждениями, долженствующими в первую очередь напитать его ум, должны быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, научить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом. Переходя к свободным искусствам, мы начнем с того между ними, которое делает нас свободными.

Все они в той или иной мере наставляют нас, как жить и как пользоваться жизнью, — каковой цели, впрочем, служит и все остальное. Остановим, однако, свой выбор на том из этих искусств, которое прямо направлено к ней и которое служит ей непосредственно.

В К сожалению, и в наше время и учителя и ученики могут повторить слова Монтеня о мере полезности школьных знаний. Пока еще, и чаще всего при отборе содержания школьного образования, ориентируются не столько на потребности практики и жизни человека, сколько на основы развития науки и общества.

Если бы нам удалось свести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли бы, что большая часть обиходных знаний не нужна в обиходе; и что даже в тех науках, которые так или иначе находят себе применение, все же обнаруживается множество никому не нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись, по совету Сократа, изучением лишь бесспорно полезного.

Sapere aude

Incipe: vivendi recte qui prorogat horam,

* Чего дозволено желать; в чем ценность недавно отчеканенных денег; насколько подобает расщедриться для своей родины и милых сердцу близких; кем бог назначил тебе быть, и какое место ты в действительности занимаешь между людьми; чем мы являемся или для какой жизни мы родились? (лат.). Персий, III, 69—73.

** Как и от каких трудностей ему уклоняться и какие переносить (лат.). Вергилий. Энеида, III, 459.

Rusticus expectat dum defluat amnis; at ille
Labitur, et labetur in omne volubilis aevum*.

Величайшее недомыслие — учить наших детей тому,

Quid moveant Pisces, animosaque signa Leonis,
Lotus et Hesperia quid Capricornus aqua**.

или науке о звездах и движении восьмой сферы раньше, чем науке об их собственных душевных движениях.

После того как юноше разъяснят, что же собственно ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и какую бы из этих наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже развит, — он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должно то путем собеседования, то с помощью книг; иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно разжеванном виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книгах, чтобы отыскивать в них подходящие для его целей места, то можно дать ему в помощь какого-нибудь ученого человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом уже сам укажет и предложит их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газы? Там — докучные и трудные правила, слова, пустые и как бы бесплотные; ничто не влечет вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа не останется без прибытка, здесь найдется чем и где поживиться. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее.

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, в которых она погрязла. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающими страх. Кто напялил на нее эту обманчивую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к праздно-

* Решись стать разумным, начни! Кто медлит упорядочить свою жизнь, подобен тому простаку, который дожидается у реки, когда она пронесет все свои воды; а она течет и будет течь веки вечные (лат.). Гораций. Послания, I, 2, 40—43.

** Каково влияние созвездия Рыб, отважного Льва или Козерога, омываемого гесперийскими водами (лат.). Проперций, IV, 4, 85—86. Гесперийские — от греч. «геспер» — запад.

сти и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое — значит, философии тут нет и в помине.

Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют хмурить лоб и предаваться печали.

Deprendas animi tormenta latentis in aegro
Corpore, deprendas et gaudia; sumit utrumque
Inde habitum facies*.

Душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; точно так же она изменит по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это *baroso* и *baralipton* марают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь понаслышке. В самом деле, это она успокаивает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых эпициклов, но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось приблизиться к добродетели, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогорье, откуда отчетливо видит все находящееся под нею; достигнуть ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по положому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, склону.

Мой воспитатель, сознавая свой долг, состоящий в том, что бы вселить в воспитанника желание не только уважать, но в равной, а то и в большей мере и любить добродетель, разъяснит ему, что поэты, подобно всем остальным, подвержены тем же слабостям; он также растолкует ему, что даже боги, и те прилагали гораздо больше усилий, чтобы проникнуть в покои Венеры, нежели в покои Паллады.

Пусть его воспитатель преподает ему и такой урок: ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что нести его могут как взрослые, так и дети, как

* Ты можешь обнаружить страдания души, сокрытой в больном теле, как можешь обнаружить и ее радость: ведь лицо отражает и то и другое (лат.). Ювенал, IX, 18—20.

те, кто прост, так и те, кто хитер. Упорядоченности, не силы, вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший ее любимец, сознательно забыл о своей силе, чтобы радостно и бесхитростно отдаться усвершенствованию в ней. Это — мать-кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких — великое множество, ибо она доставляет нам с материнской щедростью до полного насыщения, а то даже и пресыщения все то, что согласно с требованиями природы.

Если обычная житейская удача не достается на долю добродетели, эта последняя отворачивается от нее, обходит ее и выковыривает себе свою собственную фортуна, менее шаткую и изменчивую. Она может быть богатой, могущественной и ученой и возлежать на раздушенном ложе. Она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье. Но главная и основная ее задача — научить пользоваться этими благами, соблюдая известную меру, а также сохранять твердость, теряя их, — задача более благородная, нежели тягостная, ибо без этого течение нашей жизни искажается, мутнеет, уродуется; тут нас подстерегают подводные камни, пучины и всякие чудовища. Если же ученик проявит не отвечающие нашим чаяниям склонности, если он предпочтет побасенки занимательному рассказу о путешествии или назидательным речам, которые мог бы услышать; если, заслышав барабанный бой, разжигающий воинственный пыл его юных товарищей, он обратит свой слух к другому барабану, сзывающему на представление ярмарочных плясунов; если он не сочтет более сладостным и привлекательным возвращаться в пыли и грязи, но с победою с поля сражения, чем с призом после состязания в мяч или танцев, то я не вижу никаких иных средств, кроме следующих: пусть воспитатель — и чем раньше, тем лучше, причем, разумеется, без свидетелей, — удавит его или отошлет в какой-нибудь торговый город и отдаст в ученики пекарю, будь он даже герцогским сыном. Ибо, согласно наставлению Платона, «детям нужно определять место в жизни не в зависимости от способностей их отца, но от способностей их души».

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?

Udum et molle lutum est; nunc properandus et acri
Fingendus sine fine rota*.

* Глина влажна и мягка: нужно поспешить и, не теряя мгновения, обработать ее на гончарном круге (лат.). Персий, III, 23—25.

Нашему юноше приходится еще более торопиться: ведь учению могут быть отданы лишь первые пятнадцать-шестнадцать лет его жизни, а остальное предназначено деятельности. Ипользуем же столь краткий срок как следует: научим его только необходимому. Не нужно излишеств: откиньте все эти колющие хитросплетения диалектики, от которых наша жизнь не становится лучше; остановитесь на простейших положениях философии и сумеите надлежащим образом отобрать и истолковать их; ведь постигнуть их много легче, чем новеллу Боккаччо, и дитя, едва выйдя из рук кормилицы, готово к их восприятию в большей мере, чем к искусству чтения и письма. У философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так и для дряхлых старцев.

Но подобно тому, как шаги, которые мы делаем, прогуливаясь по галерее, будь их хоть в три раза больше, не утомляют нас в такой мере, как те, что затрачены на преодоление какой-нибудь определенной дороги, так и урок, проходя как бы случайно, без обязательного места и времени, в сочетании со всеми другими нашими действиями, будет протекать совсем незаметно. Даже игры и упражнения — и они станут неотъемлемой и довольно значительной частью обучения: я имею в виду бег, борьбу, музыку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость, внешность ученика совершенствовались вместе с его душою. Ведь воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его надвое. И, как говорит Платон, нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней. И, слушая Платона, не кажется ли нам, что он уделяет и больше времени, и больше старания телесным упражнениям, считая, что душа упражняется вместе с телом, а не наоборот?

Вообще же обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью, а не так, как это делается обычно, когда вместо того, чтобы приохотить детей к науке, им преподносят ее как сплошной ужас и жестокость. Откажитесь от насилия и принуждения; нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отводьте его от изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что ест и что пьет: пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маленьким сыном, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей. В юности, в зрелые годы, в старости — я всегда рассуждал и смотрел на дело именно так. И, наряду со многими другими вещами, порядки,

NB *Монтень прав, уделяя огромное внимание методам обучения и воспитания, порядкам и традициям образовательного заведения. Исключительно важная роль при этом отводится педагогу, ибо еще Платон в своих «Законах» вверял детей только божествам. В какой же мере педагог должен быть близок к идеалу человека!*

заведенные в большинстве наших колледжей, никогда не нравились мне. Быть может, вред, приносимый ими, был бы значительно меньше, будь воспитатели хоть немножечко снисходительней. Но ведь это настоящие тюрьмы для заключенной в них молодежи. Там развивают в ней развращенность, наказывая за нее прежде, чем она действительно проявилась. Зайдите в такой колледж во время занятий: вы не услышите ничего, кроме криков — криков школьников, подвергаемых порке, и криков учителей, ошалевших

от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях охоту к занятиям, можно ли с такой страшной рожей, с плеткой в руках руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губительный способ! Добавим правильное замечание, сделанное на этот счет Квинтилианом: столь безграничная власть учителя чревата опаснейшими последствиями, особенно если учесть характер принятых у нас наказаний. Насколько пристойнее было бы усыпать полы классных комнат цветами и листьями вместо окропленных ивовых прутьев! Я велел бы там расписать стены изображениями Радости, Веселья, Флоры, Граций, как это сделал у себя в школе философ Спевсипп. Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь.

Поразительно, сколько внимания уделяет в своих «Законах» Платон увеселениям и развлечениям молодежи в своем государстве; как подробно говорит он об их состязаниях в беге, играх, песнях, прыжках и плясках, руководство которыми и покровительство коим, по его словам, в древности было вверено самим божествам — Аполлону, музам, Минерве. Мы найдем у него тысячу предписаний касательно его гимнасий; книжные знания его, однако, весьма мало интересуют, и он, мне кажется, советует заниматься поэзией только потому, что она связана с музыкой.

Нужно избегать всего странного и необычного в наших нравах и поведении, поскольку это мешает нам общаться с людьми и поскольку это вообще — уродства. Кто не удивился бы необычайным свойствам кравчего Александра, Демофона, который обливался потом в тени и трясся от озноба на солнце? Мне случалось видеть людей, которым был страшнее запах яблок, чем выстрелы из аркебуз, и таких, которые до смерти боялись мышей, и таких, которых начинало мутить, когда они видели сливки, и таких, которые не могли смотреть, когда при них взбивали перину, подобно тому как Германик не выносил вида петухов, ни их пения. Возможно, что это происходит от какого-нибудь тайного свойства натуры: но, по-моему, все

это можно побороть, если вовремя взяться за дело. Я был воспитан так, что мой вкус, хоть и не без труда, приспособился ко всему, что подается к столу, за исключением пива. Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже, при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее. Сами философы не одобряют поведения Каллисфена, утратившего благосклонность великого Александра из-за того, что он отказался пить так же много, как тот. Пусть юноша хохочет, пусть шалит, пусть беспутничает вместе со своим государем. Я хотел бы, чтобы даже в разгуле он превосходил выносливостью и крепостью своих сотоварищей. И пусть он никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умения, а лишь по недостатку злой воли. *Multum interest utrum pessare aliquis nolit aut nesciat**. Как-то раз, находясь в веселой компании, я обратился к одному вельможе, который, пребывая во Франции, никогда не отличался беспорядочным образом жизни, с вопросом, сколько раз в жизни ему пришлось напиться, находясь на королевской службе в Германии. Задавая этот вопрос, я имел в виду выразить ему свое уважение, и он так это и принял. Он ответил, что это случилось с ним трижды, и тут же рассказал, при каких обстоятельствах это произошло. Я знаю лиц, которые, не обладая способностями подобного рода, попадали в весьма тяжелое положение, ведя дела с этой нацией. Не раз восхищался я удивительной натурой Алкивиада, который с такой легкостью умел приспособляться, без всякого ущерба для своего здоровья, к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов — лакедемонян, то поражая всех своим целомудрием, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии.

*Omnis Aristippum decuit color, et status, et res**.*

Таким хотел бы я воспитать и моего питомца,

*quem duplici panno patientia velat
Mirabor, vitae via si conversa decebit,
Personamque feret non inconcinnus utramque***.*

* Большая разница между нежеланием и неспособностью совершить поступок (*лат.*). Сенека. Письма, 90, 46.

** Аристипп легко приспособлялся к любому обороту и состоянию дел (*лат.*). Гораций. Послания, I, 17, 23.

*** Чтобы терпение укрывало его двойным плащом, и я был бы очень доволен, если бы он научился приспособляться к изменившимся обстоятельствам и легко выполнял бы и ту и другую роль (*лат.*). Гораций. Послания, 117, 25—26 и 29.

Вот мои наставления. И больше пользы извлечет из них не тот, кто их зачит, а тот, кто применит их на деле. Если вы это видите, вы это и слышите; если вы это слышите, вы это и видите.

Да не допустит бог, говорит кто-то у Платона, чтобы занятия философией состояли лишь в усвоении разнообразных знаний и погружении в науку! *Hanc amplissimam omnium artium bene vivendi disciplinam vita magis quam litteris persecuti sunt**.

Пусть наш юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь. Пусть он повторяет их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своем поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в наслаждениях, неприхотливость в питье и пище. — будет ли то мясо или же рыба, вино или вода, — умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах: *Qui disciplinam suam, non ostentationem scientiat, sed legem vitae putet, quique obtemperet ipse sibi, et decretis pareat***.

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Зевксидам ответил человеку, спросившему его, почему лакедемоняне не излагают письменно своих предписаний относительно доблести и не дают их в таком виде читать молодежи: «Потому, что они хотят приучить ее к делам, а не к словам». Сравните их юношу пятнадцати или шестнадцати лет с одним из наших латинистов-школьников, который затратил столько же времени только на то, чтобы научиться как следует говорить. Свет слишком болтлив; я не встречал еще человека, который говорил бы не больше, а меньше, чем полагается; во всяком случае, половина нашей жизни уходит на разговоры. Четыре или пять лет нас учат правильно понимать слова и строить из них фразы; еще столько же — объединять фразы в небольшие рассуждения из четырех или даже пяти частей; и последние пять, если не больше — уметь ловко сочетать и переплетать эти рассуждения между собой. Оставим это занятие тем, кто сделал его своим ремеслом.

Направляясь как-то в Орлеан, я встретил на равнине около Клеры двух школьных учителей, шедших в Бордо на расстоянии примерно пятидесяти шагов один позади другого. Еще дальше, за ними, я увидел военный отряд во главе с офицером, которым оказался не кто иной, как граф де Ларошфуко, ныне покойный. Один из сопровождавших меня людей спросил первого из учителей, кто этот дворянин. Тот, не заметив шедших подалее

* Скорее из жизни, нежели из книг, усвоили они эту науку правильно жить, высшую из всех (лат.). Цицерон. Туск., I, 3.

** Надо, чтобы он видел в своей науке не похвальбу своей осведомленностью, но закон своей жизни, и чтобы он умел подчиняться себе самому и повиноваться своим решениям (лат.). Цицерон. Туск., II, 4.

В А мы все силы бросаем на «внесение» в голову ученика все увеличивающейся и увеличивающейся информации, необходимой для освоения, при этом порой забывая или не зная, как обеспечить развитие его личности, научить прежде всего понимать самих себя. А что это значит? Это значит — учить детей соотносить свои желания и возможности, свои потребности и способы их удовлетворения, ближайшие цели и дальние перспективы, свои интересы и интересы других людей и т.д.

этих людей носят какие-то бесформенные образы и обрывки мыслей, которые они не в состоянии привести в порядок и уяснить себе, а стало быть, и передать другим: они еще не научились понимать самих себя. И хотя они лепечут что-то как будто бы уже готовое родиться, вы ясно видите, что это скорее похоже на зачатие, чем на роды, и что они только подбираются издали к смутно мелькающей перед ними мысли. Я полагаю, — и в этом я могу опереться на Сократа, — что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарабарском наречии, а если он немой, то с помощью мимики:

Verbaque praevisam rem non invita sequentur*.

Как выразился — хотя и прозой, но весьма поэтически — Сенека: cum res animum occupavere verba ambiunt**. Или, как говорил другой древний автор: Ipsae res verba rapiunt***. Не беда, если мой питомец никогда не слышал о творительном падеже, о сослагательном наклонении и о существительном и вообще из грамматики знает не больше, чем его лакей или уличная торговка сеledками. Да ведь этот самый лакей и эта торговка, лишь дай им волю, наговорят вам с три короба и сделают при этом не больше ошибок против правил своего

* Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой (лат.). Гораций. Наука поэзии, 311.

** Когда суть дела заполняет душу, слова сопутствуют ей (лат.). Сенека Старший. Контroversы, III.

*** Сам предмет подсказывает слова (лат.). Цицерон. О высш. благе..., III, 5.

родного языка, чем первейший магистр наук во Франции. Пусть наш ученик не знает риторики, пусть не умеет в предисловии списать благоволение доверчивого читателя, но ему и не нужно знать всех этих вещей. Ведь, говоря по правде, все эти роскошные украшения легко затмеваются светом, излучаемым простой и бесхитростной истиной. Эти завитушки могут увлечь только невежд, неспособных вкусить от чего-либо более основательного и жесткого, как это отчетливо показано Апром у Тацита. Послы самосцев явились к Клеомену, царю Спарты, приготовив прекрасную и пространную речь, которою хотели склонить его к войне с тираном Поликратом. Дав им возможность высказаться, Клеомен ответил: «Что касается зачина и вступления вашей речи, то я их забудь, равно как и середину ее; ну а что касается заключения, то я несогласен». Вот, как мне представляется, прекрасный ответ, оставивший этих говорунов с носом.

А что вы скажете о следующем примере? Афинянам надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для возведения какого-то крупного здания. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению, и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами: «Мужи афинские, что он сказал, то я сделаю».

Многие восхищались красноречием Цицерона в пору его расцвета; но Катон лишь подсмеивался над ним: «У нас, — говорил он, — презабавный консул». В конце ли, в начале ли речи, полезное изречение или меткое словцо всегда уместно. И если оно не подходит ни к тому, что ему предшествует, ни к тому, что за ним следует, оно все же хорошо само по себе. Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении безупречен размер, то значит и все оно безупречно; помоему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика, лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно обладало глубоким смыслом и содержанием, — и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец.

Но как же должен поступить наш питомец, если его начнут донимать софистическими тонкостями вроде следующего силлогизма: ветчина возбуждает желание пить, а питье утоляет жажду, стало быть, ветчина утоляет жажду? Пусть он посмеется над этим. Гораздо разумнее смеяться над подобными глупостями, чем пускаться в обсуждение их. Пусть он позаимствует у Аристиппа его остроумное замечание: «К чему мне распутывать это хитросплетение, если, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает меня?» Некто решил выступить против Клеанфа во всеоружии диалектических ухищрений. На это Хрисипп сказал: «Забавляй этими фокусами детей и не отвлекай подобной чепухой серьезные мысли взрослого человека».

Если эти софистические нелепости, эти *contorta et aculeata sophismata** способны внушить ученику ложные понятия, то это и в самом деле опасно; но если они не оказывают на него никакого влияния и не вызывают в нем ничего, кроме смеха, я не вижу никаких оснований к тому, чтобы он уклонялся от них. Существуют такие глупцы, которые готовы свернуть с пути и сделать крюк в добрую четверть лье в погоне за острым словцом: *aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba convenient*** . А вот с чем мы встречаемся у другого писателя: *sunt qui alicuius verbi decore placentis vocentur ad id quod non proposuerant scribere**** . Я охотнее изменю какое-нибудь хорошее изречение, чтобы вставить его в мои собственные писания, чем оборвать моих мыслей, чтобы найти ему подходящее место. По-моему, это словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот, и там, где бессилён французский, пусть его заменит гасконский. Я хочу, чтобы вещи преобладали, чтобы они заполняли собой воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах. Речь, которую я люблю, — это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах; речь сочная и острая, краткая и сжатая, не столько тонкая и приглаженная, сколько мощная и суровая:

Haec demum sapiet dictio, quae feriet****;

скорее трудная, чем скучная; свободная от всякой напыщенности, непринужденная, нескладная, смелая; каждый кусок ее должен выполнять свое дело; она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги, но, скорее, солдатскою речью, как называет Светоний речь Цезаря, хотя, говоря по правде, мне не совсем понятно, почему он ее так называет.

Я охотно подражал в свое время той небрежности, с какой, как мы видим, наша молодежь носит одежду: плащ, свисающий на завязках, капюшон на плече, кое-как натянутые чулки — все это призвано выразить гордое презрение к этим иноземным нарядам, а также пренебрежение ко всякому лоску. Но я нахожу, что еще более уместным было бы то же самое в отношении нашей речи. Всякое жеманство, особенно при нашей французской живости и непринужденности, совсем не к лицу придворному, а в самодержавном государстве любой дворянин должен вести се-

* Запутанные и изощренные софизмы (лат.). Цицерон. Акад. вопр., II, 24.

** ...или такие, что не слова соизмеряют с предметом, но выискивают предметы, к которым могли бы подойти эти слова (лат.). Квинтилиан, VIII, 3.

*** Бывают и такие, которые, увлекшись каким-нибудь излюбленным словом, обращаются к тому, о чем не предполагали писать (лат.). Сенека. Письма, 59, 5.

**** Ведь в конце концов нравится только такая речь, которая потрясает (лат.). Стих из эпитафии Лукана.

бя как придворный. Поэтому мы поступаем, по-моему, правильно, слегка подчеркивая в себе простодушие и небрежность.

Я ненавижу ткань, испещренную узелками и швами, подобно тому как и красивое лицо не должно быть таким, чтобы можно было пересчитать все его кости и вены. *Quae veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex**. *Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui?**

Красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей.

Желание отличаться от всех остальных не принятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов. Почему я не могу пользоваться той же речью, какою пользуются на парижском рынке? Аристофан Грамматик, ничего в этом не смысла, порицал в Эпикуре простоту его речи и цель, которую тот ставил перед собой как оратор и которая состояла исключительно в ясности языка. Подражание чужой речи в силу его доступности — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко. Большинство читателей, находя облачение одинаковым, глубоко заблуждаются, полагая, что под ним скрыты и одинаковые дела.

Афиняне, говорит Платон, заботятся преимущественно о богатстве и изяществе своей речи, лакедемоняне — о ее краткости, а жители Крита проявляют больше заботы об изобилии мыслей, нежели о самом языке: они-то поступают правильнее всего. Зенон говорил, что у него было два рода учеников: одни, как он именует их, *φιλόλογοι*, алчущие познания самых вещей, — и они были его любимцами; другие — *λογόφιλοι*, которые заботились только о языке. Этим нисколько не отрицается, что умение красноречиво говорить — превосходная и весьма полезная вещь; но все же она совсем не так хороша, как принято считать, и мне досадно, что вся наша жизнь наполнена стремлением к ней. Что до меня, то я прежде всего хотел бы знать надлежащим образом свой родной язык, а затем язык соседних народов, с которыми я чаще всего общаюсь. Овладение же языками греческим и латинским — дело, несомненно, прекрасное и важное, но оно покупается слишком дорогою ценой. Я расскажу здесь о способе приобрести эти знания много дешевле обычного — способе, который был испытан на мне самом. Его сможет применить всякий, кто пожелает.

Покойный отец мой, наведя тщательнейшим образом справки у людей ученых и сведущих, как лучше всего изучать

* Речь, пекущаяся об истине, должна быть простой и безыскусной (*лат.*). Сенека. Письма, 40, 4.

** Кто же оттачивает свои слова, если не тот, кто ставит своей задачей говорить вычурно? (*лат.*). Сенека. Письма, 75, 1.

древние языки, был предупрежден ими об обычно возникающих здесь помехах; ему сказали, что единственная причина, почему мы не в состоянии достичь величия и мудрости древних греков и римлян, — продолжительность изучения их языков, тогда как им самим это не стоило ни малейших усилий. Я, впрочем, не думаю, чтобы это была действительно единственная причина. Так или иначе, но мой отец нашел выход в том, что прямо из рук кормилицы и прежде, чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу, который много лет спустя скончался во Франции, будучи знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка, но прекрасно владел латынью. Приехав по приглашению моего отца, предложившего ему превосходные условия, исключительно ради моего обучения, он неотлучно находился при мне. Чтобы облегчить его труд, ему было дано еще двое помощников, не столь ученых, как он, которые были приставлены ко мне дядьками. Все они в разговоре со мною пользовались только латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Поразительно, однако, сколь многого они в этом достигли. Отец и мать выучились латыни настолько, что вполне понимали ее, а в случае нужды могли и изъясниться на ней; то же можно сказать и о тех слугах, которым приходилось больше соприкасаться со мною. Короче говоря, мы до такой степени олатинились, что наша латынь добралась даже до расположенных в окрестностях деревень, где и по сию пору сохраняются укоренившиеся вследствие частого употребления латинские названия некоторых ремесел и относящихся к ним орудий. Что до меня, то даже на седьмом году я столько же понимал французский или окружающий меня перигорский говор, сколько, скажем, арабский. И без всяких ухищрений, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать ее. Когда случалось предложить мне ради проверки письменный перевод на латинский язык, то приходилось давать мне текст не на французском языке, как это делают в школах, а на дурном латинском, который мне надлежало переложить на хорошую латынь. И Никола Груши, написавший «*De comitiis Romanorum*», Гильом Герант, составивший комментарии к Аристотелю, Джордж Бьюкенен, великий шотландский поэт, Марк-Антуан Мюре, которого и Франция и Италия считают лучшим оратором нашего времени, бывшие также моими наставниками, не раз говорили мне, что в детстве я настолько легко и свободно говорил по-латыни, что они боялись подступить ко мне. Бьюкенен, которого я видел и поз-

же в свите покойного маршала де Бриссака, сообщил мне, что, намереваясь писать о воспитании детей, он взял мое воспитание в качестве образца; в то время на его попечении находился молодой граф де Бриссак, представивший нам впоследствии доказательства своей отваги и доблести.

Что касается греческого, которого я почти вовсе не знаю, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ — путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например шашек, изучают арифметику и геометрию. Ибо моему отцу, среди прочего, советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что, — во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который они погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые, — мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из служающих мне.

Этого примера достаточно, чтобы судить обо всем остальном, а также чтобы получить надлежащее представление о заботливости и любви столь исключительного отца, которому ни в малой мере нельзя поставить в вину, что ему не удалось собрать плодов, на какие он мог рассчитывать при столь тщательной обработке. Два обстоятельства были причиной этого: во-первых, бесплодная и неблагодарная почва, ибо, хотя я и отличался отменным здоровьем и податливым, мягким характером, все же, наряду с этим, я до такой степени был тяжел на подъем, вял и сонлив, что меня не могли вывести из состояния праздности, даже чтобы заставить хоть чуточку поиграть. То, что я видел, я видел как следует, и под этой тяжеловесной внешностью предавался смелым мечтам и не по возрасту зрелым мыслям. Ум же у меня был медлительный, шедший не дальше того, куда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным — так что трудно даже поверить — отсутствием памяти. Поэтому нет ничего удивительного, что отцу так и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоящее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил, в конце концов, общему мнению, которое всегда отстаёт от людей, что идут впереди, вроде того, как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю, не имея

больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиенскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мною отдельно, и выговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои знания, приобретенные благодаря новому способу обучения, сослужили мне службу только в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его «Метаморфозах». В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; кроме того, что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах Озерных, Амадисах, Гюонах Бордоских и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание), — настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел очень мило закрывать глаза как на эти, так и на другие подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно «Энеиду» Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлитель-

ности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все — что я буду бесполезным. Можно было предвидеть, что мне будет свойственна любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: «Он ленив; равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным; слишком занят собой». И даже те, кто менее всего расположен ко мне, все же не скажут: «На каком основании он захватил то-то и то-то? На каком основании он не платит?» Они говорят: «Почему он не уступает? Почему не дает?»

Я буду рад, если и впредь ко мне будут обращать лишь такие, порожденные сверхтребовательностью, упреки. Но некоторые несправедливо требуют от меня, чтобы я делал то, чего я не обязан делать, и притом гораздо настойчивее, чем требуют от себя того, что они обязаны делать. Осуждая меня, они заранее отказывают тем самым любому моему поступку в награде, а мне — в благодарности, которая была бы лишь справедливым воздаянием должного. Прошу еще при этом учесть, что всякое хорошее дело, совершенное мною, должно цениться тем больше, что сам я меньше кого-либо пользовался чужими благодеяниями. Я могу тем свободнее распорядиться моим имуществом, чем больше оно мое. И если бы я любил расписывать все, что делаю, мне было бы легко отвести от себя эти упреки. А иным из этих господ я сумел бы без труда доказать, что они не столько раздражены тем, что я делаю недостаточно много, сколько тем, что я мог бы сделать для них значительно больше.

В то же время душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчетливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве, ни с кем не общаясь. И среди прочего я, действительно, думаю, что она неспособна была бы склониться перед силою и принуждением.

Следует ли мне упомянуть еще об одной способности, которую я проявлял в своем детстве? Я имею в виду выразительность моего лица, подвижность и гибкость в голосе и телодвижениях, умение сживаться с той ролью, которую я исполнял. Ибо еще в раннем возрасте,

*Alter ab undecimo turn me vix ceperat annus**,

я справлялся с ролями героев в латинских трагедиях Бюкенена, Геранта и Мюре, которые отлично ставились в нашей гиеньской школе. Наш принципал, Андреа де Гувеа, как и во всем, что ка-

* Мне в ту пору едва пошел двенадцатый год (лат). Вергилий. Эклоги, VIII, 39.

салось исполняемых им обязанностей, был и в этом отношении, без сомнения, самым выдающимся среди принципалов наших школ. Так вот, на этих представлениях меня считали первым актером. Это — такое занятие, которое я ни в какой мере не порицал бы, если бы оно получило распространение среди детей наших знатных домов. Впоследствии мне доводилось видеть и наших принцев, которые отдавались ему, уподобляясь в этом кое-кому из древних, с честью для себя и успехом.

В древней Греции считалось вполне пристойным, когда человек знатного рода делал из этого свое ремесло: *Aristoni tragico actori rem aperit; huic et genus et fortuna honesta erant; nec ars, quia nihil tale apud Graecos pudori est, ea deformabat**.

Возвращаясь к предмету моего рассуждения, повторю, что самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью. Поощряя их ударами розог, им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действительным благом, недостаточно их держать при себе, — нужно ими проникнуться.

Глава 28 О ДРУЖБЕ

Присматриваясь к приемам одного находящегося у меня живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. И по правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная, — ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей. Ибо отцы не могут посвящать детей

* Он поделился своим замыслом с трагическим актером Аристоном: этот последний был хорошего рода, притом богат, и актерское искусство, которое у греков не считается постыдным, нисколько не унижало его (лат.). Тит Ливий, XXIV, 24.

в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первых обязанностей между друзьями.

Глава 30

ОБ УМЕРЕННОСТИ

Можно и чересчур любить добродетель, и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: «Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру».

В Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли.

Глава 39

ОБ УЕДИНЕНИИ

Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя, но для общества», то пусть его твердят те, кто без стеснения пляшет со всеми другими под одну дудку. Но если у них есть хоть крупинка совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорее ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, если справедливы слова Бианта, что «большая часть — это всегда наихудшая», или также Экклезиаста, что «и в целой тысяче не найти ни одного доброго», —

Rari quippe boni: numero vix sunt totidem, quot
Thebarum portae, vel divitis ostia Nili*,

* Хорошие люди редки; едва ли наберется их столько же, сколько насчитывается ворот в Фивах или устьев у плодоносного Нила (лат.). Ювенал, XIII, 26—27.

то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям порочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно: и походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас непохожи.

Купцы, отправляясь за море, имеют все основания приглядываться к своим попутчикам на корабле, не развратники ли они, не богохульники ли, не злодеи ли, считая, что подобная компания приносит несчастье. Вот почему Биант, обратившись к тем, которые, будучи с ним на море во время разыгравшейся бури, молили богов об избавлении от опасности, шутливо сказал: «Помолчите, чтобы боги не заметили, что и вы здесь вместе со мной!»

Еще убедительнее пример Альбукерке, вице-короля Индии в царствование португальского короля Мануэля. Когда кораблю, на котором он находился, стала угрожать близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика, с той единственной целью, чтобы этот невинный ребенок, судьбу которого он связал со своей, помог ему снискать и обеспечить милость Всевышнего и тем самым спас бы их от гибели.

Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя одиноким даже среди толпы придворных; но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он выберет совершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных.

Харонд карал как преступников даже тех, кто был уличен, что он водится с дурными людьми. И нет другого существа, которое было бы столь же неуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине его пороков, второе — в силу его природы.

И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурными людьми, ответил, по-моему, не вполне убедительно, сославшись на то, что и врачи проводят жизнь среди больных. Дело в том, что, заботясь о здоровье больных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку они постоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себя опасности заразиться.

И действительно, мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеет собой. После разрушения варварами города Нолы тамошний епископ Павлин, потеряв все и попав в плен к победителям, обратился к Богу с такой молитвой: «Господи, не дай мне почувствовать эту потерю; ибо ничего из моего, как Тебе ведомо, они пока что не тронули». Те богатства, которые делали его богатым, и то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невредимыми.

Вот что значит уметь выбирать для себя сокровища, которые невозможно похитить, и укрывать их в таком тайнике, куда никто не может проникнуть, так что выдать его можем только мы сами. Надо иметь жен, детей, имущество и, прежде всего, здоровье, кому это дано: но не следует привязываться ко всему этому свыше меры, так, чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние; здесь надлежит нам размышлять и радоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство, слуги, дабы, если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-то необычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем коснеть в томительной праздности:

in solis sis tibi turba locis.*

Добродетель, говорит Антисфен, довольствуется собой: она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии со стороны.

Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который мы совершали бы непосредственно ради себя. Посмотри: вот человек, который карабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишенью для выстрелов из аркебуз; а вот другой, весь в рубцах, изможденный, бледный от голода, решивший скорее подохнуть, но только не отворить городские ворота первым. Считаешь ли ты, что они здесь ради себя? Они здесь ради того, кого никогда не видели, кто нисколько не утруждает себя мыслями об их подвигах, утопая в это самое время в праздности и наслаждениях. А вот еще один: харкающий, с гноящимися глазами, неумытый и нечесанный, он покидает далеко за полночь свой рабочий кабинет: думаешь ли ты, что он роется в книгах, чтобы стать добродетельнее, счастливее и мудрее? Ничуть не бывало. Он готов замучить себя до смерти, лишь бы поведать потомству, каким размером писал свои стихи Плавт, или как правильнее пишется такое-то латинское слово. Кто бы не согласился с превеликой охотой отдать свое здоровье, покой или самую жизнь в обмен на известность и славу — самые бесполезные, ненужные и фальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении? Нам мало страха за свою жизнь, так давайте же трепетать еще за жизнь наших жен, детей, домочадцев! Нам мало хлопот с нашими собст-

* Когда ты в одиночестве, будь себе сам толпой (*лат.*). Тибулл, IV, 13, 12.

венными делами, так давайте же мучиться и ломать себе голову из-за дел наших друзей и соседей!

Vah! quemquamne hominem in animum instituere aut
Parare, quod sit carius quam ipse est sibi?*

Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как это сделал, скажем, Фалес.

Мы прожили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы и намерения! Ведь нелегкое дело — отступать, не теряя присутствия духа; всякое отступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому еще другие заботы. Когда Господь дает нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и отдаляют от самих себя. Нужно разорвать эти на редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря: пусть все будет по-прежнему близко нам, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами до такой степени прочно, чтоб нельзя было его отделить от нас, не ободрав у нас кожу и не вырвав заодно еще кусок мяса. Самая великая вещь на свете — это владеть собой.

Это, мне кажется, было бы вполне правильно, если бы речь шла о том, чтобы уйти из мира, рассматривая его как нечто, находящееся вне тебя; названные же мною авторы делают это только наполовину. Они задумываются над тем, что будет, когда их самих больше не будет; но тут получается забавное противоречие, ибо плоды своих намерений они рассчитывают пожать в этом мире, однако лишь тогда, когда они сами будут уже за его пределами. Гораздо более здравыми представляются мне соображения тех, кто ищет уединения из благочестия, поддерживая в себе мужество верой в будущую жизнь, которая принесет осуществление обещанного нам Богом. Они отдают себя Богу, существу бесконечному и в благости, и в могуществе; и перед душой открывается необозримый простор для осуществления ее чаяний. И болезни, и страдания приносят им пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечное наслаждение; и даже смерть представляется им желанною, ибо она — переход к этому совершенному состоянию. Суровость их дисциплины благодаря привычке вскоре перестает казаться им тягостной, их плотские вожделения, будучи подавляемы, успокаиваются и замирают,

* Подумать только! Привязаться к кому-нибудь или проникнуться к нему таким чувством, что он может оказаться тебе дороже, чем ты сам для себя? (лат.). Теренций. Братья, I, 1, 38—39.

ибо они поддерживаются в нас исключительно тем, что мы беспрепятственно удовлетворяем их. Эта единственная их цель — блаженная и бессмертная жизнь — и в самом деле заслуживает того, чтобы отказаться ради нее от радостей и утех нашего бренного существования. И кто может зажечь в своей душе пламя этой живой веры, а также надежды, по-настоящему и навсегда, тот создает себе и в пустыне жизнь, полную наслаждений и радостей, превышающих все, чего можно достигнуть при всяком ином образе жизни.

Итак, ни цель, ни средства, которые предлагает Плиний, не удовлетворяют меня; следуя ему, мы лишь попадаем из огня да в полымя. Эти книжные занятия столь же обременительны, как все прочее, и столь же вредны для здоровья, которое должно быть главной нашей заботой. И никоим образом нельзя допускать, чтобы удовольствие, доставляемое нашими занятиями, затмило все остальное: ведь это то самое удовольствие, которое губит жадного хозяина, стяжателя, сладострастника и честолюбца. Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличать истинные, полновесные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботы и которые омрачены ими. Ибо большинство удовольствий, по их словам, шекочет и увлекает нас лишь для того, чтобы задуть до смерти, как это делали те разбойники, которых египтяне называли филетами. И если бы головная боль начинала нас мучить раньше опьянения, мы остерегались бы пить через меру. Но наслаждение, чтобы нас обмануть, идет впереди, прикрывая собой своих спутников. Книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем, в конце концов, здоровье и бодрость — самое ценное достояние наше, то не лучше ли оставить и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза от них не может возместить эту потерю. Подобно тому как люди, ослабленные длительным недомоганием, отдают себя в конце концов в руки врачей и соглашаются подчинить свою жизнь некоторым предписанным ими правилам, которые и стараются не преступать, так и тому, кто, усталый и разочарованный, покидает людей, надлежит устроить для себя жизнь согласно правилам разума, упорядочить ее и соразмерить, предварительно все обдумав. Он должен распрощаться с любым видом труда, каков бы он ни был: и вообще, он должен остерегаться страстей, нарушающих наш телесный и душевный покой, он должен избрать для себя тот путь, который ему больше всего по душе:

*Unusquisque sua noverit ire via**.

Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой или чем-либо иным, вы должны отдаваться этому не дальше того предела, где кончается удовольствие, берегитесь увлечься и устремиться вперед

* Проперций, II, 25, 38. Перевод дан выше.

туда, где к удовольствию примешивается усилие. Нужно предаваться занятиям и заботам лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранять бодрость и обезопасить себя от неприятностей, порождаемых противоположною крайностью, а именно вялым и сонным бездельем. Есть науки бесплодные и бесполезные, и большинство из них создано ради житейской суестьи, их следует предоставить тем, кто занят мирскими делами. Что до меня, то я люблю лишь развлекательные и легкие книги — либо те, которые возбуждают мое любопытство, либо те, которые утешают меня или советуют, как упорядочить мою жизнь и мою смерть:

tacitum silvas inter reptare salubres
Curantem quidquid dignum sapiente bonoque est*.

Люди более мудрые, обладая душою мужественной и сильной, способны сохранять душевное спокойствие, независимо от всего прочего. Но так как душа у меня самая обыкновенная, мне приходится поддерживать ее телесными удовольствиями, и поскольку возраст отнимает у меня те из них, которые были мне больше всего по вкусу, я приучаю себя острее воспринимать другие, более соответствующие этой новой поре моей жизни. Нужно вцепиться и зубами и когтями в те удовольствия жизни, которые годы вырывают у нас одно за другим:

carpamus dulcia: nostrum est
Quod vivis: cinis et manes et fabula fies**.

Что до славы, предлагаемой нам Цицероном и Плинием в качестве нашей цели, то я очень далек от подобных стремлений. Честолюбие несовместимо с уединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей. Сколько я вижу, оба названных мною писателя унесли из житейской толчеи только руки да ноги, душой же и помыслами они погрязли в ней еще глубже, чем когда-либо прежде:

Tun', vetule, auriculis alienis colligis escas?***

Они всего-навсего лишь отступили немного назад, чтобы прыгнуть дальше и лучше, чтобы, напрягшись как следует, рвануться в самую гущу толпы. Хотите убедиться, насколько легковесны их рассуждения? Сопоставим мнения двух философов, принадлежащих к совершенно различным школам и пишущих один — Идоменею, другой — Луцилию, их друзьям, убеждая их

* Молча бродя по благодатным лесам и устремляя свой взор на то, что достойно мудрого и добропорядочного человека (*лат.*). Гораций, *Послания*, I, 4, 4—5.

** Будем наслаждаться. Нынешний день — наш; а после ты станешь прахом, тенью, преданием (*лат.*). Персий, V, 151—152.

*** Не о том ли хлопочешь, старик, как бы потешить уши других? (*лат.*). Персий, I, 22.

отказаться от дел и почестей и уединиться от мира. Вы жили, говорят они, до этого времени, плавая и носясь по волнам, — так доберитесь, наконец, до гавани, чтобы там умереть. Всю свою жизнь вы отдали свету — проведите остаток ее в тени. Невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов; по этой причине оставьте заботу о своем имени и о славе. Есть опасность, что блеск ваших бывших деяний осеняет вас слишком ярким ореолом и не покинет вас и в вашем убежище. Откажитесь вместе со всеми прочими наслаждениями и от того, которое вы испытываете, когда вас одобряют другие; а что касается ваших знаний и ваших талантов, то не тревожьтесь о них; они не утратят своего значения оттого, что вы сами сделаетесь более достойными их. Вспомните человека, который на вопрос, зачем он тратит столько усилий, постигая искусство, недоступное большинству людей, ответил: «С меня довольно очень немногих, с меня довольно и одного, с меня довольно, если даже не будет ни одного». Он говорил сущую правду. Вы и хотя бы еще один из ваших друзей — это уже целый театр для вас обоих, и даже вы один — театр для себя самого. Пусть целый народ будет для нас этим «одним» и этот «один» — целым народом. Желание извлечь славу из своей праздности и своего затворничества — это суетное тщеславие. Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заматающие следы у входа в свою берлогу. Вам не следует больше стремиться к тому, чтобы о вас говорил весь мир; достаточно и того, чтобы вы сами могли говорить с собой о себе. Удалитесь в себя, но позаботьтесь сначала о том, чтобы сделать это подобающим образом, было бы безумием довериться себе, если вы не умеете собою управлять. Можно ошибаться в уединении так же, как и в обществе подобных себе. Пока вы не сделаетесь таким, перед которым не посмеете отступить, и пока не будете внушать себе самому почтение и легкий трепет, — *observentur species honestae animo**, — помните всегда о Катоне, Фокионе и Аристиде, в присутствии которых даже безумцы старались скрыть свои заблуждения, и изберите их судьями всех своих помыслов; если эти последние пойдут по кривому пути, уважение к названным героям возвратит вас на правильный путь. Они поддержат вас на нем, они помогут вам довольствоваться самим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у самого себя, сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченных размышлениях, таких, где она сможет находить для себя уладу и, познав наконец истинные блага, наслаждение которыми усиливается по мере познания их, удовольствоваться всем этим, не желая ни продления жизни, ни увековечения своего имени. Вот совет истинной и бесхитростной философии, а не болтливой и показной, как у первых двух упомянутых мной мыслителей.

* Пусть они запечатлеют в своей душе образцы добродетели (лат.). Цицерон. Туск., II, 22.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 6 ОБ УПРАЖНЕНИИ

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, кроме этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной.

Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, приодеться, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях.

Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространенной слабости. Это узда для коров, которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя и не принадлежу к числу как тех, так и других. Хотя они прямо в этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить себя напоказ. О чем больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как не к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг, а на основании движений их собственной души? Мы благоговейно исповедуемся перед Богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично. Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях; на это я отвечу, что мы исповедуемся во всем, ибо сама наша добродетель небезупречна и нуждается в покаянии. Жить — вот мое занятие и мое искусство.

Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о себе делами и творениями, а не одними только словами. Но я изображаю главным образом мои размышления — вещь весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную оболочку, как голос. Многие более мудрые и более благочестивые люди прожили жизнь, не

совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно всякий раз с какой-либо одной стороны. А тут я выставляю целиком себя напоказ: нечто вроде скелета, в котором с одного взгляда можно увидеть все — вены, мускулы, связки, все в отдельности и на своем месте. А кашель показал бы лишь одну часть картины, внезапная бледность или сердцебиение — другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делаются ли они вслух или про себя. Если бы мне казалось, что я добр и умен или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на деле, — не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, что ты стоишь, есть, по словам Аристотеля, трусость и малодушие. Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумное себялюбие. Лучшее средство для исцеления от этого порока — делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым еще строже запрещают о себе думать. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе кажется, что заниматься собой значит любоваться собой, что неот-

В В числе перечисленных действий, необходимых человеку, выходящему в жизнь, и умений, обязательных для самореализации, мои ученики называли самопознание.

вязно следить за собой и изучать себя значит придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностно; у тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами; кто считает занятие собой делом пустым и праздным; кто держится мнения, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер — все равно что строить воздушные замки; и кто полагает, что самопознание — дело постороннее и третьестепенное.

Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего Бога «Познай самого себя» и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания.

Глава 8

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

Если существует действительно какой-либо естественный закон, то есть некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным, и людям (что далеко, впрочем, не бесспорно), то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа как бы предписала ее нам с целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь детей к родителям не столь сильна.

К этому надо еще добавить наблюдение Аристотеля, что делающий кому-либо добро любит его сильнее, чем сам им любим; и что займодавец любит своего должника больше, чем тот его, совершенно так же, как всякий мастер больше любит свое творение, чем любил бы его это творение, обладай оно способностью чувствовать. Мы ведь дорожим своим бытием, а бытие состоит в движении и действии, так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в свое творение. Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви, чем благородное. Благородное твердо и постоянно; оно доставляет тому, кто сделал его, прочное чувство удовлетворения. Полезное легко утрачивается и исчезает; оно не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания. Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой, и давать труднее, чем брать.

Так как Богу угодно было наделить нас некоторой способностью суждения, чтобы мы не были рабски подчинены, как животные, общим законам и могли применять их по нашему разумению и доброй воле, то мы должны до известной степени подчиняться простым велениям природы, но не отдаваться полностью ее власти, ибо руководить нашими способностями призван только разум. Что касается меня, то я мало расположен к тем склонностям, которые возникают у нас без вмешательства разума. Я, например, не могу проникнуться той страстью, в силу которой мы целуем новорожденных детей, еще лишенных душевных или определенных физических качеств, которыми они способны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня. Подлинная и разумная любовь должна была бы появляться и расти по мере того, как мы узнаем их, и тогда, если они этого заслуживают, естественная склонность развивается одновременно с разумной любовью и мы любим их настоящей родительской любовью; но точно так же и в том случае, если они не заслуживают любви, мы должны судить о них, всегда обращаясь к разуму и подавляя естественное влечение. Между тем очень часто поступают наобо-

НВ Действительно, нечасто встретишь настоящую разумную родительскую любовь, проявляющуюся к детям на протяжении всей жизни. Такие родители мудро меняют свою позицию от наставника, обучающего важным моментам жизни человека в обществе, к партнерству в совместных делах и далее к позиции старшего друга и товарища, готового не только поделиться жизненным опытом, дать совет, но и всегда прийти на помощь в трудных обстоятельствах.

рот, и чаще все мы больше радуемся детским шалостям, играм и проделкам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте, словно бы мы их любили для нашего развлечения, как мартышек, а не как людей. И нередко тот, кто щедро дарил им в детстве игрушки, оказывается очень скупым на малейший расход, необходимый им, когда они подросли. Похоже на то, что мы завидуем, видя, как они радуются жизни, между тем как нам необходимо уже расставаться с ней, и эта зависть заставляет нас быть по отношению к ним более скарденными и сдержанными: нас раздражает, что они идут за нами по пятам, как бы убеждая нас уйти поскорее. И если бы мы должны были этого боя-

ться — ибо в силу извечного порядка вещей они действительно могут жить лишь за счет нашего существа и нашей жизни, — то нам не следовало бы становиться отцами.

Что касается меня, то я нахожу жестоким и несправедливым не уделять детям части нашего имущества, не делать их совладельцами наших благ и соучастниками в наших имущественных делах, когда они стали уже способными их вести; я нахожу, что мы обязаны урезывать наши блага в их пользу, ибо ведь для этого мы породили их на свет. Это величайшая несправедливость — когда старый, больной и еле живой отец один пользуется, греясь у очага, доходами, которых хватило бы на содержание нескольких детей; когда он заставляет их, за недостатком средств, терять лучшие годы, не имея возможности продвинуться на государственной службе и узнать людей. Их приводят этим в отчаяние и побуждают стараться всякими путями, как бы дурны они ни были, обеспечить себя; и в самом деле, я видел на своем веку немало молодых людей из хороших семей, ставших такими закоренелыми ворами, что их ничем нельзя было уже вернуть на путь истинный. Я знаю одного такого человека из хорошей семьи, с которым я однажды говорил по этому поводу по просьбе его брата, весьма порядочного и почтенного дворянина. Бедняга прямо признался мне, что на этот злополучный и грязный путь его толкнули черствость и скупость его отца и что он теперь так привык к этому, что не может жить иначе; и действительно, вскоре после этого он был изобличен в том, что украл кольца у одной дамы, на утреннем приеме которой он находился вместе с другими людьми. Это напомнило мне рассказ, который мне довелось услышать от другого дворянина, так пристрастившегося с молодых лет к этому злосчаст-

ному занятию, что впоследствии, вступив во владение своим имуществом и решив избавиться от своего порока, он не в состоянии был удержаться и пройти мимо лавки, не украв какой-нибудь вещи, которая была ему нужна, с тем чтобы потом послать деньги за нее. Я видел людей, до того пристрастившихся к этому пороку и погрязших в нем, что даже у своих товарищей они крали вещи, которые потом возвращали. Я — гасконец, но не знаю порока, который был бы мне более непонятен. Я его еще больше ненавижу чувством, чем разумом. Даже в помысле моем я не мог бы ни у кого ничего похитить. Гасконцы пользуются в этом отношении более дурной славой, чем другие народы Франции, хотя мы не раз видели в наши дни, что в руки правосудия попадали родовитые люди из других частей страны, уличенные в гнусных кражах. Я подозреваю, что в этом беспутстве отчасти повинен названный порок отцов.

Быть может, мне приведут в виде возражения то, что сказал один разумный вельможа, заявивший, что он копил богатства лишь для того, чтобы быть почитаемым и ценимым своими близкими, и так как старость отняла у него все другие возможности, это единственное оставшееся ему средство поддержать свою власть в семье и избежать всеобщего презрения (напомним, что, по словам Аристотеля, не только старость, но и всякая вообще умственная слабость порождает скупость). В этом есть некоторая доля истины, но ведь это лишь лекарство против болезни, самого возникновения которой не следует допускать. Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще называть это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь — добротой и мягкостью. Даже прах благородного человека заслуживает уважения: мы привыкли воздавать почет и окружать поклонением даже останки выдающихся людей. У человека, достойно прожившего свою жизнь, не может быть настолько убогой и жалкой старости, чтобы она из-за этого не внушала уважения, в особенности его собственным детям, которых с малолетства надлежало приучить к исполнению своего долга убеждением, а не принуждением, грубостью, скупостью или суровостью.

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, нельзя добиться и силой. Такое воспитание получил я сам. Рассказывают, что в раннем детстве меня всего два раза высекали, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе; к несчастью, все они умирали в младенческом возрасте; этой участи счастливо избежала только дочь моя Леонор, к которой до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялось никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и

то всегда очень мягких (что вполне отвечало снисходительности ее матери). И если бы даже мои намерения в отношении воспитания и не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить многими другими причинами, не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естествен. С мальчиками в этом отношении я рекомендовал бы быть особенно сдержанными, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости; я поэтому постарался бы развить в них пристрастие к прямоте и непосредственности. Между тем от розог я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти (хотя никакой вообще повод для такого ужасного положения нельзя считать законным и прощительным — *nullum scelus rationem habet**), то нам следует разумно сделать для них все, что в нашей власти. Поэтому нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создает для нас большие неудобства. Я особенно имею в виду наше дворянство, которое ведет праздную жизнь и живет, как выражаются, только своими рентами, ибо в тех семьях, где средства к существованию добываются трудом, наличие большого числа детей облегчает ведение хозяйства, так как оно означает наличие дополнительного числа рабочих рук или орудий.

Я женился, когда мне было тридцать три года, и поддерживаю приписываемое Аристотелю мнение, что жениться следует в тридцать пять лет. Платон требует, чтобы женились не ранее тридцати лет, но он прав, когда смеется над теми, кто вступает в брак после пятидесяти лет, и считает, что потомство таких людей не пригодно к жизни.

Фалес установил в этом вопросе наиболее правильные границы. Когда он был очень молод и мать убеждала его жениться, он отвечал ей, что еще не пришло время, а состарившись, заявлял, что уже поздно. Следует отказываться от всяких несвоевременных действий.

Но отец, отягощенный годами и болезнями, лишенный из-за своих немощей и старости возможности занимать свое место в обществе, поступает несправедливо по отношению к своим детям, продолжая бесплодно оберегать свои богатства. Если он умен, то вполне уместно, чтобы у него явилось желание раздеться прежде, чем лечь спать, — раздеться не до рубашки, а вплоть до очень теплого халата; все же остальные роскошества, которые ему уже не по зубам, он должен с готовностью раздать тем, кому

* Никакое преступление не может иметь законного основания (*лат.*). Тит Ливий, XXVIII, 28.

они должны по закону природы принадлежать. Вполне естественно, чтобы он предоставил детям пользоваться ими, поскольку природа лишает его самого этой возможности; иначе здесь проявился злая воля и зависть. Лучшим из поступков императора Карла V было умение признать (по примеру некоторых древних мужей под стать ему), что разум повелевает нам раздеться, если наше платье отягощает нас и мешает нам, и что следует лечь, если ноги нас больше не держат. Почувствовав, что он не силах больше вести дела с прежней твердостью и силой, он отказался от своих богатств, почестей и власти в пользу сына.

Solve senescentem mature sanus equum, ne
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat*.

Это неумение вовремя остановиться и ощутить ту разительную перемену, которая с возрастом естественно происходит в нашем теле и в нашей душе (причем, на мой взгляд, эта перемена в одинаковой мере относится и к телу, и к душе, а возможно, что к душе даже больше), погубило славу многих великих людей. Я видел на своем веку и близко знал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали былые качества, по слухам, отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они, ради их собственной чести, удалились на покой и отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу. Я когда-то, как свой человек, бывал в доме одного дворянина-вдовца, очень старого, но еще бодрого. У него было несколько дочерей на выданье и сын, которому пришлось время показываться в свете, что было связано с множеством расходов и с посещениями разных посторонних людей, бывавших в отеческом доме. Все это вызывало неудовольствие отца, не столько по причине лишних расходов, сколько потому, что ввиду своего преклонного возраста он усвоил образ жизни, глубоко отличный от нашего. Однажды я довольно смело, как обычно с ним говорил, заявил ему, что ему следовало бы освободить для нас место, что лучше ему было бы предоставить сыну главный дом (ибо только он один был хорошо расположен и обставлен), а самому устроиться в одном из соседних его поместий, где никто не будет нарушать его покоя, так как иначе он не сможет избавиться от тех неудобств, которые связаны с образом жизни его детей. Он последовал моему совету и остался доволен.

Я не хочу, однако, этим сказать, что нельзя взять назад уступленных детям прав. Я предоставил бы детям (и в близком будущем намерен сам так поступить) возможность пользоваться моим домом и моими поместьями, но с правом отказать им в этом, если они дадут к тому повод. Я предоставил бы им пользование

* Впрочем, если разумен, выпрягай стареющего коня, чтобы он не стал спотыкаться и задыхаться от усталости на потеху всем (*лат.*). Гораций. Послания, I, 1, 8—9.

всем моим имуществом, когда это стало бы для меня обременительным; но общее управление им я сохранил бы за собой в той мере, в какой мне было бы это желательно, так как я всегда считал, что для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами и иметь возможность, пока он жив, проверять их действия, давать им советы и наставления на основании своего опыта; большой радостью должно быть для него иметь возможность самому поддерживать благополучие своего дома, перешедшего в руки его преемников, и укрепиться таким образом в надеждах, которые он может возлагать на них в будущем. Потому я не стал бы сторониться их общества, а, наоборот, хотел бы находиться около них и наслаждаться — в той мере, в какой мне это позволил бы мой возраст, — их радостями и их увеселениями. Если бы даже я и не жил общей с ними жизнью (так как в этом случае я омрачал бы их общество печалью моего возраста и моих болезней, а кроме того, меня это вынудило бы нарушить мой новый образ жизни), я бы, по крайней мере, постарался жить около них в какой-нибудь части моего дома, не в самой парадной, но в наиболее удобной.

Я бы попытался в сердечных беседах внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего нетрудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом; если же

NB *Да, итог воспитания родителей своих детей может быть разным: печальным или радостным. В большей мере это зависит от самих родителей — какими целями и ценностями они руководствовались, какой стиль общения и взаимодействия с детьми являлся основополагающим, какие воспитательные методы и приемы они использовали, какое место занимали дети в их жизни.*

Чтобы не потерять ребенка, важно не потерять его доверие и веру в родителей как людей, искренне и бескорыстно любящих, честных по отношению к детям, которые не только полезны, но и щедрь своим духовным богатством.

они подобны диким зверям (а таких детей в наш век тьма-тьмушая), их надо ненавидеть и бежать от них. Мне не нравится обычай некоторых отцов, запрещающих детям применять к ним обращение «отец» и вменяющих детям в обязанность называть их более уважительными именами, как если бы природа недостаточно позаботилась о соблюдении нашего авторитета. Называем же мы всемогущего Бога Отцом, так почему же мы не хотим, чтобы наши дети так называли нас? Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близкие отношения и принимать в общении с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или — еще хуже — потешными: ведь их дети малы, полны сил, и им, следовательно, море по колено, а потому им смешны

надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугало на огороде. Если бы речь шла обо мне, я бы скорее предпочел, чтобы меня любили, чем боялись.

Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна, что легко может вызывать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и связанность близких.

В Это относится не только к написанным книгам, статьям, картинам, музыке..., но и к нашим ученикам, выходящим из школы в самостоятельную жизнь. Возможно, именно это ощущение сопричастности к развитию и становлению личности, состояние сотворчества педагога в процессе самоопределения его учеников служит (хотя бы частично) оправданием в том, что наши собственные дети часто находятся в забвении, и порой мы, педагоги, уделяем больше внимания, времени и душевных сил своим ученикам, нежели им, родным детям. Ведь наши ученики — это наше «духовное творение».

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем физическое наше потомство.

Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения — это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например случилось с Ликургом, Солоном, Миносом.

Страницы истории пестрят примерами любви отцов к своим детям, и мне представляется уместным привести здесь некоторые из них.

Гелиодор, добрейший епископ города Трикки, предпочел лишиться своего почтенного сана, доходов и всего связанного с его высокой должностью, чем отречься от своей дочери, которая жила и хороша еще поныне, хотя для дочери церкви, для дочери священнослужителя она и нескольковольна, и чересчур занята любовными похождениями.

Жил в Риме некий Лабиев, человек больших достоинств и весьма влиятельный, отличавшийся, помимо других качеств, своими литературными дарованиями; он был, как я полагаю,

сыном великого Лабиена, являвшегося при Цезаре во время его войн в Галлии одним из виднейших военачальников, в дальнейшем же перешел на сторону великого Помпея и проявлял большую доблесть вплоть до момента, когда тот был разбит наголову Цезарем в Испании. Добродетели того Лабиена, о котором я веду здесь речь, создали ему большое число завистников, но особенно, по-видимому, ненавидели его императорские придворные и фавориты за его приверженность к свободе и унаследованную от отца враждебность тирании. Этот образ его мыслей, должно быть, сказался в его писаниях. Враги преследовали его и добились постановления римского сената о сожжении многих опубликованных им сочинений. Именно с Лабиена начался тот новый вид наказания — карать смертью сами произведения, который с тех пор утвердился в Риме по отношению ко многим другим авторам. Еще не были использованы все средства и достигнуты все пределы жестокости, пока люди не придумали простираť ее на то, что по самой природе своей лишено чувствительности и способности испытывать страдания, как наша смертная слава и создания человеческого духа, и пока не придумали физически увечить и истреблять человеческие мысли и творения муз. Лабиен не мог примириться с этой утратой и пережить свои столь дорогие ему создания; он велел отнести себя в гробницу предков и запереть там живым; так он зараз и покончил с собой, и похоронил себя. Трудно найти пример более горькой родительской любви, чем эта. Кассий Север, выдающийся оратор и друг Лабиена, видя, как сжигают его книги, воскликнул, что в силу того же самого приговора следует и его самого сжечь живым, ибо он хранит в памяти содержание этих книг.

Подобное же произошло и с Кремуцием Кордом, обвиненным в том, что он в своих сочинениях отзывался с похвалой о Бруте и Кассии. Гнусный, пресмыкающийся и разложившийся сенат, достойный еще худшего повелителя, чем Тиберий, приговорил его писания к сожжению; Корд решил погибнуть вместе с ними и уморил себя голодом.

Славный Лукан, будучи осужден негодяем Нероном, приказал своему врачу вскрыть ему на руках вены, желая поскорее умереть. В последние минуты жизни, когда он совсем уже истекал кровью и тело его начало коченеть, обьятое смертельным холодом, охватившим его жизненные органы, он принялся декламировать отрывок из своей поэмы о Фарсале; так он и умер с созданными им стихами на устах. Разве это не было нежным отцовским прощанием со своим детищем, подобным нашему прощанию и поцелую, какими мы обмениваемся с нашими детьми перед смертью? Разве это не было проявлением той естественной привязанности, вызывающей у нас в смертный час воспоминания о вещах, которые в жизни были нам дороже всего?

Когда Эпикур умирал, истерзанный, по его словам, невероятными страданиями, вызванными коликой, его единственным утешением было то, что он оставляет после себя свое учение. Но можно ли думать, что ему доставили бы такую же радость несколько одаренных и хорошо воспитанных детей — если бы они у него были, — как и создание его глубокомысленных творений? И что если бы он был поставлен перед выбором, оставить ли после себя уродливого и неудачного ребенка или же нелепое и глупое сочинение, то он — и не только он, но и всякий человек подобных дарований — не предпочел бы скорее первое, нежели второе? Если бы, например, святому Августину предложили похоронить либо свои сочинения, имеющие такое важное значение для нашей религии, либо же своих детей — в случае, если бы они у него были, — то было бы нечестивым с его стороны, если бы он не предпочел второе.

Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой.

То, что я отдаю этому духовному созданию, я отдаю бескорыстно и безвозвратно, как отдают что-либо своим детям; та малость добра, которую я вложил в него, больше не принадлежит мне; оно может знать много вещей, которых я больше не знаю, и воспринять от меня то, чего я не сохранил и что я, в случае надобности, должен буду, как совершенно постороннее лицо, заимствовать у него. Если я мудрее его, то оно богаче, чем я.

Немного найдется таких приверженных к поэзии людей, которые не сочли бы для себя большим счастьем быть отцами «Энеиды», чем самого красивого юноши в Риме, и которые не примирились бы легче с утратой последнего, чем с утратой «Энеиды». Ибо, по словам Аристотеля, из всех творцов именно поэты больше всего влюблены в свои творения. Трудно поверить, чтобы Эпаминонд, хвалившийся, что он оставляет после себя всего лишь двух дочерей, но таких, которые в будущем окружают почетом имя их отца (этими дочерьми были две славные его победы над спартанцами), согласился обменять их на самых красивых девушек во всей Греции; и так же трудно представить себе, чтобы Александр Македонский или Цезарь согласились когда-нибудь отказаться от величия своих славных военных подвигов ради того, чтобы иметь детей и наследников, сколь бы совершенными и замечательными они ни были. Я сильно сомневаюсь также, чтобы Фидий или какой-нибудь другой выдающийся ваятель был более озабочен благополучием и долголетием своих детей, чем сохранностью какого-нибудь замечательного своего произведения, художественного совершенства которого он добился в результате длительного изучения и неустанных трудов.

Глава 10

О книгах

Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится, и я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом; эти вещи я, может быть, когда-нибудь узнаю или знал их раньше, если случайно мне доводилось найти разъяснение их, но я уже не помню его.

Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уж совершенно не способен запоминать прочно. Поэтому я не могу поручиться за достоверность моих познаний и в лучшем случае могу лишь определить, каковы их пределы в данный момент. Не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь, а лишь на то, как я их рассматриваю.

Пусть судят на основании того, что я заимствую у других, сумел ли я выбрать то, что повышает ценность моего изложения. Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума. Я не веду счета моим заимствованиям, а отбираю и взвешиваю их. Если бы я хотел, чтобы о ценности этих цитат судили по их количеству, я мог бы вставить их в мои писания вдвое больше. Они все, за очень небольшими исключениями, принадлежат столь выдающимся и древним авторам, что сами говорят за себя. Я иногда намеренно не называю источник тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям еще здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий беретса судить, воображая себя достаточно в этом деле сведущим. Я хочу, чтобы они в моем лице поднимали на смех Плутарха или обрушивались на Сенеку. Я хочу прикрыть свою слабость этими громкими именами. Я приветствовал бы того, кто сумел бы меня разоблачить, то есть по одной лишь ясности суждения, по красоте и силе выражений сумел бы отличить мои заимствования от моих собственных мыслей. Ибо, хотя за отсутствием памяти мне самому зачастую не под силу различить их происхождение, я все же, зная мои возможности, очень хорошо понимаю, что роскошные цветы, рассеянные в разных местах моего изло-

жения, отнюдь не принадлежат мне и неизмеримо превосходят мои собственные дарования.

Я обязан дать ответ, есть ли в моих писаниях такие недостатки, которых я не понимаю или неспособен понять, если мне их покажут. Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что мы неспособны рассуждать здраво. Мы можем, не обладая способностью суждения, обладать и знанием и истиной, но и суждение, со своей стороны, может обходиться без них; больше того: признаваться в незнании, на мой взгляд, одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли; поэтому здесь нет таких вопросов, которых нельзя было бы не знать или о которых нельзя было бы говорить случайно и приблизительно.

Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла. Я не ишу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть:

Has meus ad metas sudet oportet equus.*

Если я при чтении натываюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а, попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо.

Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю понимать еще хуже, если упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действуют на мой ум удручающе, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть, и внимание мое рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него; совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендуют несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и взгля-

* Надо, чтобы мой конь напряг все силы для достижения этой цели (лат.). Проперций, IV, 1, 70.

дивая опять. Если какая-нибудь книга меня раздражает, я выбираю другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от безделья.

Я редко читаю новых авторов, ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими, однако не берусь при этом за греческих авторов, ибо мое знание греческого языка не превышает познаний ребенка или ученика.

К числу книг просто-занимательных я отношу из новых — «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Иоанна Секунда, если их можно поместить в эту рубрику. Что касается «Амадиса» и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу еще — может быть, смело, а может, безрассудно, — что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше не только к Ариосто, но и к доброму Овидию: его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня.

Я свободно высказываю свое мнение обо всем, даже о вещах, превосходящих иногда мое понимание и совершенно не относящихся к моему ведению. Мое мнение о них не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает отвращение, как произведение слабое, «Аксиох» Платона, то, учитывая имя автора, мой ум не доверяет себе: он не настолько глуп, чтобы противопоставлять себя авторитету столько выдающихся мужей древности, которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться. Он ополчается на себя и осуждает себя либо за то, что останавливается на поверхности явления, не в силах проникнуть в самую его суть, либо за то, что рассматривает его в каком-то ложном свете. Мой ум довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы, что же касается его слабости, то он охотно признает ее. Он полагает, что дает правильное истолкование явлениям, вытекающим из его понимания, но они нелепы и неудовлетворительны. Большинство басен Эзопа многосмысленны и многообразны в своем значении. Те, кто истолковывает их мифологически, выбирают какой-нибудь образ, который хорошо вяжется с басней, но для многих это лишь первый попавшийся и поверхностный образ; есть другие более яркие, более существенные и глубокие образы, до которых они не смогли добраться; так же поступаю и я.

Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу: мне всегда казалось, что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Гораций, в особенности «Георгики» Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим произведением; при сравнении их с «Энеидой» нетрудно убедиться, что в ней есть места, которые автор, несомненно, еще отделал бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды». Люблю я также Лукана и охотно его читаю; я не так ценю его стиль,

как его самого, правильность его мнений и суждений. Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходит в верном изображении душевных движений и состояния нравов; наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его ни читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество.

Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой, — так как с помощью этих книг я учусь развивать свои мысли и понятия, — то сюда относятся произведения Плутарха — с тех пор как он переведен на французский язык — и Сенеки. Оба эти автора обладают важнейшим для меня достоинством: та наука, которую я в них ищу, дана у них не в систематическом изложении, а в отдельных очерках; поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я неспособен. Таковы мелкие произведения Плутарха и «Письма» Сенеки, составляющие лучшую и наиболее полезную часть их творений. Мне не надо делать никаких усилий, чтобы засесть за них, и я могу оборвать чтение, где мне захочется, ибо отдельные части этих произведений не связаны друг с другом. Оба эти автора сходятся в ряде своих полезных и правильных взглядов; сходна во многом и их судьба: оба они родились почти в одном веке, оба были наставниками двух римских императоров, оба были выходцами из иных стран, были богаты и могущественны. Их учение — это сливки философии, преподнесенной в простой и доступной форме.

Я вообще отдаю предпочтение книгам, которые используют достижения наук, а не тем, которые созидают сами эти науки.

Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний: их прельщает не само событие, а его подоплека, они задерживаются на том, что происходит внутри, а не на том, что совершается снаружи.

Проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным; они способны выбрать из двух известий более правдоподобное; кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующие речи. Они правы, ставя своей задачей склонять нас к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немногие. Исто-

В Целые поколения отечественных историков воспитывались на таких книгах!

Источниковедческая база и ее достоверность — важнейшее условие понимания и описания того или иного исторического процесса.

рики, занимающие промежуточную позицию (а это наиболее распространенная разновидность их), все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они присваивают себе право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению, ибо, если суждение историка однобоко, то он не может предохранить свое повествование от извраще-

Если бы М.Монтень стал историком, мы имели бы блестящего историкографа Франции, становления ее государственности и общественного устройства в эпоху средневековья. Впрочем, «Опыты» в известной мере документ истории, своего рода «исповедь сына своего века».

выставляют напоказ свое слабое красноречие и свои рассуждения, пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть остаются и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал, ничего из него не изымают, а предоставят нам его в полном объеме и в нетронутном виде.

Глава 11 О ЖЕСТОКОСТИ

Мне кажется, что добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками идут тем же путем и поступают так же, как и люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы; но тот, кто, задетый обидой за живое и разъяренный, сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, совершил бы несомненно нечто большее. Первый поступил бы хорошо, второй же — добродетельно; первый поступок можно назвать добрым, второй — добродетельным, ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без противодействия. Ведь не случайно мы называем Бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринужденны и совершаются без всяких усилий. Многие философы — и не только стоики, но и эпикурейцы — близки к такому пониманию добродетели. Я объединяю тех и других вопреки общераспространенному мнению, которое ложно, как бы ни расценивать остроумный ответ, данный Аркесилаем тому, кто упрекал его в том, что многие переходят из его школы к эпикурейцам, но никогда — от эпикурейцев к стоикам. «Согласен! — ответил

Аркесилай. — Многие петухи превращаются в каплунов, но каплуны никогда не становятся петухами». И действительно, по части твердости взглядов и строгости наставлений эпикурейцы отнюдь не уступают стоикам, если быть в отношении их добросовестными и не подражать тем спорщикам, которые, стремясь одержать легкую победу над Эпикуром, приписывают ему то, чего он никогда не думал, и выворачивают его слова наизнанку, злоупотребляя грамматикой и вкладывая в его фразы совсем другой смысл, чем тот, какой эти фразы (равно как и его дела, как им хорошо известно) на самом деле имели. Недаром некий стоик заявляет, что он перестал быть эпикурейцем по той причине — в числе прочих, — что эпикурейцы идут слишком возвышенным, недоступным путем *et ii qui φιλεδονοι vocantur, sunt φιλοχαλοι et φιλοδικοι, omnesque virtutes et colunt et retinent**. Итак, повторяю: из философов многие стоики и эпикурейцы считали, что недостаточно обладать душой благонамеренной, уравновешенной и склонной к добродетели, что недостаточно быть способным высказывать суждения и принимать решения, ставящие нас выше всех жизненных невзгод и превратностей, но что необходимо, кроме того, самому искать случаев применить их на практике. Они хотели испытать боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности: *multum sibi adicit virtus lacessita***. Вот одна из причин, побудившая Эпаминонда, принадлежавшего к третьей школе, отказаться от богатства, которое судьба послала ему в руки самым законным путем, ибо он хотел, по его собственному выражению, сражаться с бедностью, и прожил в нужде до конца своих дней. Сократ подвергал себя еще более жестокому, на мой взгляд, испытанию, поскольку таким испытанием являлась для него злоба жены; это, по-моему, равносильно упражнению с остро отточенным ножом. Метелл, единственный из римских сенаторов, решил подвергнуть испытанию свою добродетель, чтобы положить предел насилию народного трибуна Сатурнина, старавшегося всеми силами провести несправедливый закон в пользу плебеев. Приговоренный за это к изгнанию — каре, которую Сатурнин ввел против отказывавшихся признать этот закон, — Метелл обратился к тем, кто сопровождал его в этот тяжкий для него час, со следующими словами: «Делать зло — вещь слишком легкая и слишком низкая; делать добро в тех случаях, когда с этим не сопряжено никакой опасности, — вещь обычная; но делать добро, когда это опасно, — таково истинное призвание добродетельного человека». Эти слова Ме-

* И те, которых вы называете любителями наслаждений, на самом деле являются любителями прекрасного и честного, и они чтут и блюдут все добродетели (лат.). Цицерон Письма, XV, 19.

** Добродетель возрастает, если ее подвергают испытаниям (лат.). Сенека. Письма, XIII, 3.

телла ясно подтверждают мою мысль о том, что добродетель не вяжется с отсутствием трудностей и что легкий, удобный и наклонный путь, по которому направляется хорошая природная склонность, это еще не есть путь истинной добродетели. Последняя требует трудного и тернистого пути, она, как в случае с Метеллом, должна преодолевать либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от ее нелегкого пути; либо трудности внутренние, вызываемые нашими необузданными страстями и несовершенством.

Вплоть до этой минуты я чувствовал себя в своем изложении совершенно уверенным. Но когда я дописывал последнюю фразу, мне пришло в голову, что, согласно моей мысли, душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нем борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением. Я не могу вообразить себе, чтобы его добродетель испытывала какие бы то ни было трудности или какое-нибудь принуждение. Я знаю могущество и власть его разума, который никогда не дал бы зародиться какому-нибудь порочному стремлению. Такой возвышенной добродетели, как у Сократа, я не могу ничего противопоставить. Мне кажется, я вижу, как, свободная, она ступает победоносным и торжествующим шагом, не встречая никаких помех, никаких трудностей. Если добродетель ярче сияет благодаря борьбе противоположных стремлений, то значит ли это, что она не может обойтись без порока и что своей ценностью и почетом она обязана ему? Что скажем мы также об этом честном и благородном эпикурейском наслаждении, которое мимоходом, словно играючи, воспитывает добродетель, подчиняя ей, в виде забавы, стыд, лихорадки, бедность, смерть и узилища? Если я предположу, что совершенная добродетель познается лишь путем умения подавлять и терпеливо сносить боль, не моргнув глазом выдерживать жестокие приступы подагры; если я предпишу ей в качестве обязательного условия трудности и препятствия, то что же сказать о добродетели, поднявшейся на такую высоту, что она не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается до степени восторженного экстаза, подобно некоторым эпикурейцам, оставившим нам весьма достоверные свидетельства подобных, испытанных ими переживаний?

Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого может служить пример Катона Младшего. Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, что душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения, не могу поверить, чтобы, совершая этот поступок, он только выполнял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, что душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрастной. Мне кажется, что в

добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим; я нисколько не сомневаюсь, что он испытывал радость и наслаждение, совершая свой благородный подвиг, и что он был им более удовлетворен, чем каким бы то ни было другим поступком в своей жизни. *Sic abit e vita ut causam moriendi nactum se esse gauderet**. Я настолько убежден в этом, что сомневаюсь, пожелал ли бы он лишиться возможности совершить такое прекрасное деяние. Если бы меня не останавливала мысль о благородстве, побуждавшем его всегда ставить общественное благо выше личного, то я очень склонен был бы допустить, что он благодарен был судьбе за то, что она послала такое прекрасное испытание его добродетели, и за то, что она помогла «этому разбойнику» растоптать исконную свободу его родины. Мне кажется, что при совершении этого поступка его душа испытывала несказанную радость и мужественное наслаждение, ибо она сознавала, что благородство и величие его —

*Deliberata morte ferocior***, —

вдохновлены не мыслью о грядущей славе (как это бывает у некоторых слабых и заурядных людей; но для души столь благородной, сильной и гордой это был бы слишком низменный стимул), а красотой самого поступка. Эту красоту он видел во всем ее совершенстве и яснее, чем мы, ибо он владел ею так, как нам не дано.

Я думаю, нет сомнения в том, что лучше по Божьему изволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и преодолеть их; но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди невинные, но и не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. К тому же такой душевный склад так недалек от слабости и несовершенства, что я не в состоянии даже разграничить их. Именно по этой причине с самыми понятиями доброты и невинности связан некий оттенок пренебрежения. Я вижу, что некоторые добродетели, например целомудрие, воздержание и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками. Стойкость в перенесении опасностей (если только ее можно назвать в данном случае стойкостью),

* Он ушел из жизни, радуясь, что нашел случай покончить с собой (*лат.*). Цицерон. Туск., I, 30.

** Она неустрашима, так как решила умереть (*лат.*). Гораций. Оды, I, 37, 29.

презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бы бранить. Один итальянский вельможа, нелюбезно отзывавшийся о своей нации, однажды в моем присутствии говорил следующее. Сообразительность и проницательность итальянцев — утверждал он — так велики, что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, между тем как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами. Он, может быть, говорил все это шутки ради; однако несомненно верно, что новички в военном деле часто бросаются навстречу опасности, но, побывав в переделках, уже не действуют столь опрометчиво:

hand ignarus quantum nova gloria in armis.
Et praedulce decus primo certamine possit*.

Вот почему, когда судят об отдельном поступке, то, прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание всю сущность человека, который совершил его.

Несколько слов о себе. Мои друзья нередко называли во мне осмотрительностью то, что в действительности было случайностью, и считали проявлением смелости и терпения то, что было проявлением рассудительности и определенного мнения; словом, мне часто приписывали одно качество вместо другого, и иногда к выгоде для меня, иногда мне в ущерб. На деле же я далек как от той первой и более высокой степени совершенства, когда добродетель превращается в привычку, так и от совершенства второй степени, доказательств которого я не смог дать. Мне не приходилось прилагать больших усилий, чтобы обуздать обурававшие меня желания. Моя добродетель — это добродетель или, лучше сказать, невинность случайная и преходящая. Будь у меня от рождения более неуравновешенный характер, я представлял бы, наверное, жалкое зрелище, ибо мне не хватило бы твердости противостоять натиску страстей, даже не особенно бурных. Я совершенно не способен к внутреннему разладу и

* ...хоть и знал я, как много значат для первого сражения только что обретенная военная слава и пресладостный почет (*лат.*). Вергилий. Энеида, XI, 154—155.

борьбе. Поэтому мне нечего особенно благодарить себя за то, что я лишен многих пороков:

si vitii mediocribus et mea paucis
Mendosa est natura, alioqui recta, velut si
Egregio inspersos reprehendas corpore naevos*, —

то я скорее обязан этим моей судьбе, чем моему разуму. Ей угодно было, чтобы я происходил из рода, прославившегося своей безупречной честностью, и был сыном замечательного отца; не знаю, унаследовал ли я от него некоторые его качества или на меня незаметно повлияли примеры, которые я видел в семье, и хорошее воспитание, полученное мною в детстве, или что-нибудь иное —

Seu Libra, seu me Scorpium aspicit
Formidolosus pars violentior
Natalis horae, seu tyrannus
Hesperiae Capricornus undae**, —

но, как бы там ни было, я питаю отвращение к большинству пороков. Антисфен ответил спросившему его, чему лучше всего научиться: «Отучиться от зла». Я питаю, говорю я, к порокам отвращение, столь естественное и глубоко мне присущее, что никакие обстоятельства не смогли заставить меня изменить это усвоенное с младенческих лет чувство; не смогли заставить меня изменить ему даже мои собственные суждения, несмотря на то что они, отклоняясь в некоторых отношениях от общепринятого пути, легко могли бы мне позволить поступки, которые эта естественная склонность побуждает меня ненавидеть.

Не могу удержаться от весьма странного признания: я нахожу, что благодаря моему отвращению к порокам в моих нравах больше постоянства и уравновешенности, чем в моих суждениях, и что моя похоть менее разнузданна, чем мой разум.

Аристипп высказал такие смелые мысли в защиту наслаждения и богатства, что философы всех направлений ополчились против него. Но что до его собственных нравов, то, когда тиран Дионисий предоставил ему на выбор трех прекрасных женщин, Аристипп заявил, что выбирает всех трех и что он не одобряет Париса за то, что тот отдал предпочтение одной из трех; но, приведя их к себе в дом, он отослал их обратно, не прикоснувшись к ним. Однажды, когда его слуга, который во время путешествия

* Если моя природа, наделенная лишь небольшими недостатками, в остальном благополучно устроена и подобна прекрасному телу, которому можно поставить в укор несколько рассеянных по нему пятнышек (лат.). Гораций. Сатиры, I, 6, 65.

** Преобладало ли в момент моего рождения влияние созвездия Весов или грозного Скорпиона, или же владыки западного моря, Козерога (лат.). Гораций. Оды, II, 17, 17—20.

нес за ним деньги, выбился из сил из-за тяжести своей ноши, Аристипп приказал ему бросить все лишнее и оставить только то, что он в состоянии нести.

И Эпикур с его безбожным и утонченным учением в личной жизни был весьма благочестив и трудолюбив. Одному из своих друзей он пишет, что питается только черным хлебом с водой и просит прислать немного сыра на случай, если он захочет устроить роскошный обед. Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного и общего свойства, без всякого на то закона или основания, или примера?

Пороки, которым мне случалось поддаваться, слава Богу, не из худших. Я по достоинству осуждал их в себе, ибо мой разум оставался незатронутым ими; напротив, он строже осуждал их во мне, чем осудил бы в ком-нибудь другом. Но этим дело и ограничивалось, ибо я способен оказывать лишь слабое сопротивление и легко даю себя увлечь; однако я не допускаю, чтобы к имеющимся у меня порокам присоединялись еще и другие, что случается с теми, кто этого не остерегается, ибо пороки большей частью переплетаются между собой. Что касается моих пороков, то я их в меру моих возможностей ограничил, оставив себе очень немногие и самые простые,

nec ultra
Errorem foveo*.

Между тем стоики утверждают, что когда мудрец совершает благое дело, он делает его с помощью всех своих добродетелей, хотя одна из них в зависимости от характера действия и преобладает (доводом в пользу этого им могло бы служить до известной степени сходство с человеческим организмом, ибо действие гнева может происходить в нас лишь с помощью всех других чувств, хотя гнев и преобладает над ними); но если они отсюда хотят сделать вывод, что когда порочный человек творит дурное дело, он совершает его при помощи всех своих пороков, то я им в этом не верю или не понимаю их в этом отношении, ибо в действительности я ощущаю прямо противоположное. Однако это несущественные тонкости, на которых иногда останавливаются философы.

Я поддаюсь кое-каким порокам, но других избегаю не менее усердно, чем святой.

Перипатетики также не признают такой неразрывной связи между пороками, и Аристотель считает, что человек благоразумный и справедливый может быть и воздержанным, и распутным.

Сократ охотно признавался перед теми, кто находил в чертах его лица некоторую склонность к пороку, что она действительно

* И не потакаю другим слабостям (лат.). Ювенал, VIII, 164.

была ему свойственна от природы, но что благодаря самообладанию ему удалось обуздать ее.

Близкие к философу Стильпону люди утверждали, что он с ранних лет был привержен к вину и питал слабость к женщинам, но в результате упорных усилий стал весьма воздержан в том и в другом.

Тем, что есть во мне хорошего, я, напротив, обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения. Мне присуща естественная доброта, в которой немного силы, но нет ничего искусственного. И по природе своей, и по велению разума я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков. В этом отношении я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыпленка или когда слышу, как верещит заяц в зубах моих собак, хотя и считаю охоту одним из самых больших удовольствий.

Что касается нашего родства с животными, то я не придаю ему большого значения, как равно и тому, что многие народы — и в частности наиболее древние и благородные — не только допускали животных в свое общество, но и ставили их значительно выше себя; некоторые народы считали их друзьями и любимцами своих богов, которые будто бы почитают и любят их больше, чем людей: другие же не признавали никаких других божеств, кроме животных; *belluae a barbaris propter beneficium consecratae**.

Crocodilon adorat

Pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin;

Effigies sacri hic nitet aurea cercopithecii;

...hic piscem fluminis, illic

Oppida tota canem venerantur**.

Для животных почетно и то истолкование этого явления, которое дано Плутархом и получило широкое распространение. Действительно, Плутарх утверждал, что египтяне почитали не кошку, например, или быка, а чтили в этих животных олицетворение некоторых божественных качеств: в быке — терпение и полезность, в кошке — живость или нежелание сидеть взаперти (вроде наших соседей бургундцев вместе со всей Германией); под этим они разумели свободу, которую любили и почитали превыше всех других божественных качеств. Так же истолковывали они и почитание других животных. Но ког-

* Варвары обожествляли животных за те услуги, которые они им оказывали (*лат.*). Цицерон. О пр. бог., I, 36.

** Одни почитают крокодилов, другие страшатся ибиса, наевшегося змей, здесь сверкает золотое изображение священной обезьяны, там поклоняются речной рыбе, в иных местах целые города обоготворяют собак (*лат.*). Ювенал, XV, 2—6.

да я встречаю у представителей самых умеренных взглядов рассуждения о якобы близком сходстве между нами и животными и описания великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто бы обладают, и утверждения правомерности приравнивания нас к ним, то цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижается, и я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми другими созданиями.

Но как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство шадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и рас-

В У людей, чувствующих себя частью природы, тяга к насилию и жестокости в отношении всего живого на земле, действительно, отсутствует.

тения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребяческой слабости: я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне некстати предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, бдительность которых спасла Капитолий; афиняне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гекатомпедон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду.

У агригентцев существовал обычай по-настоящему хоронить животных, которые были им дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

У агригентцев существовал обычай по-настоящему хоронить животных, которые были им дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур.

Кимон устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на олимпийских состязаниях. Старый Ксантипп похоронил свою собаку на утесе, высящемся на морском побережье и известном с тех пор под ее именем. Плутарх рассказывает, что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вола, который долгое время ему служил.

Глава 16

О СЛАВЕ

Существует название вещи и сама вещь: название — это слово, которое указывает на вещь и обозначает ее. Название не есть ни часть вещи, ни часть ее сущности. Это нечто присоединенное к вещи и пребывающее вне ее.

NB Естественно, ведь «роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет...».

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого.

Credo che'l resto di quel verno cose
Facesse degne di tenerne conto;
Ma fur sin'a quel tempo si nascose,
Che non è colpa mia s'hor'non le conto:
Perchè Orlando a far l'opre virtuose,
Piu ch'a narrarle poi, sempre era pronto;
Nè mai fu alcun'de li suoi fatti espresso,
Se non quando ebbe i testimoni appresso*.

Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, которая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров, и даже за всякой добродетельной мыслью; эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью, сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы:

Virtus, repulsae nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus,
Nec sumit aut ponit secures
Arbitrio popularis aurae**.

Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной; нет, она должна

* Мне думается, что до самого конца этой зимы Роланд совершал подвиги, достойные увековечения, но покрытые до настоящего времени такой тайной, что не моя вина, если я не могу рассказать о них. Дело в том, что Роланд всегда скорее стремился совершать, чем рассказывать о них, и из его подвигов нам известны лишь те, у которых были живые свидетели (*ит.*). Ариосто, XI, 81.

** Доблесть сияет неоспоримыми почестями и не знает позора от безуспешных притязаний; она не получает власти и не слагает ее по прихоти народа (*лат.*). Гораций. Оды, 111. 2, 17.

быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния; и, когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать среди опасностей боя, *non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore**. Это — выгода гораздо большая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас.

Чтобы решить спор о каком-нибудь клочке земли, нужно выбрать из целого народа десяток подходящих людей; а наши склонности и наши поступки, то есть наиболее трудное и наиболее важное из всех дел, какие только возможны, мы выносим на суд черни, матери невежества, несправедливости и непостоянства! Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? *An quidquam stultius, quam, quos singulos contemnas, eos aliquid putare esse uiniversos***. Кто стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет; в эту мишень как ни целясь, все равно не попадешь. *Nil tam inaestimabile est, quam animi multitudinis****. Деметрий сказал в шутку о гласе народном, что он не больше считается с тем, который исходит у толпы верхов, чем с тем, который исходит у нее низом. А другой автор выказывается еще решительнее: *Ego hoc iudico, si quando turpe non sit, tamen non esse non turpe, cum id a multitudine laudetur*****.

Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые сбивают нас с толку, невозможно избрать себе мало-мальски правильный путь. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, то у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы обречем его скорее на каком-либо другом пути, чем на этом. И если бы случилось, что я не пошел по прямой дороге, не отдав ей предпочте-

* Не из какой-либо корысти, а ради чести самой добродетели (лат.). Цицерон. О высш. благе..., I, 10.

** Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем придавать значение совокупности тех, кого презираешь каждого в отдельности (лат.). Цицерон. Туск., V, 36.

*** Нет ничего презреннее, нежели мнение толпы (лат.). Тит Ливий, XXXI, 34.

**** Я же полагаю, что вещь, сама по себе не постыдная, неизбежно становится постыдной, когда ее прославляет толпа (лат.). Цицерон. О высш. благе..., II, 15.

ния потому, что она прямая, я все равно вынужден буду пойти по ней, убедившись на опыте, что в конце концов она наиболее безопасная и удобная.

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а

ВВ *Пожалуй, это высшая форма независимости и ощущения себя человеком.*

не заемным богатством. Посторонние видят лишь внешнюю сторону событий и вещей; между тем всякий имеет возможность изображать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он во власти страха и

весь в лихорадке; таким образом, люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающее на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасностей и одновременно выдавать себя за первого смельчака, несмотря на то что в сердце он трус? Есть только способы уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть

ВВ *Это о нашем поколении. Как многому можно научиться у нашего поколения по части усложнения жизни, уклонения от ответственности и нежелания отвечать за свою судьбу и свое дело.*

целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующей личиною и решительными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки. И многие, располагая они платоновским перстнем, делающим невидимым каждого, у кого он

на пальце и кто обернет его камнем к ладони, частенько скрывались бы с его помощью от людских взоров — и именно там, где им больше всего подобало бы быть на виду, — горестно сожалел о том, что они занимают столь почетное место, заставляющее их быть храбрыми поневоле.

Falsus honor iuvat, et mendax infamia terret
Quem, nisi mendosum et mendacem?*

Вот почему суждения, составленные на основании одного лишь внешнего облика той или иной вещи, крайне поверхностны и сомнительны, и нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого. И скольких только обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы! Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершает больший подвиг, нежели побывавшие тут до него, нежели те полсотни горемык-землекопов, которые проложили ему дорогу и за пять су в день прикрывают его своими телами?

* Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью и страшится ложных наветов? (лат.). Гораций. Послания, I, 16, 39.

Non, quidquid turbida Roma
Elevet, accedas, examenque improbum in illa
Castiges trutina: nec tu quaesiveris extra*.

Мы говорим, что, делая наше имя известным всюду и влагая его в уста столь многих людей, мы тем самым возвеличиваем его; мы хотим, чтобы оно произносилось с благоговением и чтобы это окружающее его сияние пошло ему на пользу, — и это все, что можно привести в оправдание нашего стремления к славе. Но в исключительных случаях эта болезнь приводит к тому, что иные не останавливаются ни перед чем, только бы о них говорили. Трог Помпей сообщает о Герострате, а Тит Ливий о Манлии Капитолийском, что они жаждали скорее громкого, чем доброго имени. Этот порок, впрочем, обычен: мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах, а почему — это нас отнюдь не заботит. Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что и наша жизнь, и сроки ее находятся под охраною знающих нас. Что до меня, то я крепко держусь за себя самого.

Глава 17 О САМОМНЕНИИ

Существует и другой вид стремления к славе, состоящий в том, что мы создаем себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его — безотчетная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас в наших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же, что бывает с влюбленным, страсть которого наделяет предмет его обожания красотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным, чем тот является на самом деле.

Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением люди принимали себя и видели в себе нечто меньшее, чем они есть; приговор во всех случаях должен быть равно справедливым. Подобаает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине.

Те, кому их судьба (назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно) предоставила прожить жизнь, возвышающуюся над общим уровнем, те имеют возможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же они представляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликой толпе и о

* Не следуй за тем, что возвеличивает взбодораженный Рим, не исправляй неверную стрелку этих весов и не ищи себя нигде, кроме как в себе самом (*лат.*). Персий, I, 5.

ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами не сделают этого, — тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе, обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, и следуя в этом примеру Луцилия:

Illi velut fidis arcana sodalibus olim
Credebat libris, neque, si male cesserat, usquam
Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis
Votiva pateat veluti descripta tabella
Vita senis*.

Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себя в них таким, каким представлялся себе самому: *Nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtreactioni fuit***.

Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечали какие-то особые, сам не знаю какие, повадки и замашки, говорившие о пустой и нелепой надменности. По этому поводу я прежде всего хотел бы сказать следующее: нет ничего удивительного, что нам присущи известные свойства и склонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мы не можем уже ни ощущать, ни распознавать их в себе; под влиянием таких естественных склонностей мы, сами того не замечая, произвольно усваиваем какую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некоторое жеманство явились причиной того, что Александр стал склонять голову несколько набок; они же придали речи Алкивиада картавость и шепелявость; Юлий Цезарь почесывал голову пальцем, а это, как правило, жест человека, одолеваемого тяжкими думами и заботами; Цицерон, кажется, имел обыкновение морщить нос, что является признаком врожденной насмешливости. Все эти движения могут совершаться неприметно для нас самих. Но наряду с ними есть другие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишне распространяться; таковы, например, приветствия и поклоны, с помощью которых нередко добиваются чести, обычно незаслуженной, почитаться человеком учтивым и скромным, причем многих побуждает к этому честолюбие.

Не знаю, были ли те замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природой и была ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанному выше пороку, что, конечно, возможно, так как за движения своего тела я отвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу

* Всякие тайны свои он поверял книгам, как верным друзьям: какое бы благо или зло с ним ни приключалось, он прибегал только к ним; таким образом старик начертал в своих сочинениях всю свою жизнь, как на обетных дощечках (*лат.*). Гораций. Сатиры, II, 1, 30.

** Это [то, что они описали свою жизнь] не вызвало ни недоверия к Рутилию и Скавру, ни порицания их (*лат.*). Тацит. Агрикола, I.

В И в жизни, и в процессе обучения опасна как заниженная, так и завышенная самооценка. И если самомнение, высокомерие складывается у человека из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других, порождаемого прежде всего невежеством (я согласна с Монтенем), то заниженная оценка связана с феноменом «недоступности» того, что есть у других. Это состояние, в свою очередь, порождает описанное Монтенем чувство обыденности собственных умений, возможностей или достижений...

В связи с этим мне представляется важным показывать детям уже с раннего возраста, в чем важность того или иного их достижения, по каким критериям можно оценивать человека, убеждать в необходимости такой оценки не с позиции только того или иного идеала, а с точки зрения изменения, развития, расширения объема знаний, умений или улучшения качества деятельности самого ребенка. Только в этом случае можно повышать объективность в оценке достижений человека. Если же говорить о творчестве, то, конечно, приходится согласиться с автором. Монтень прав: если человек не умел писать стихи и в один прекрасный день сделал для себя гигантский шаг вперед, научившись составлять рифмованные строки, то вряд ли этот процесс можно назвать творчеством. Не всегда в этом случае ре-

рассказать здесь с полной откровенностью обо всем, что на этот счет думаю.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то, поскольку речь идет обо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: я постоянно чувствую на себе гнет некоего душевного заблуждения, которое немало огорчает меня отчасти потому, что оно совершенно необоснованно, а еще больше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, но полностью избавиться от него я не могу. Ведь я неизменно преуменьшаю истинную ценность всего принадлежащего мне и, напротив, преувеличиваю ценность всего чужого, отсутствующего и не моего, поскольку оно мне недоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому как сознание собственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах достойное порицания пренебрежительное отношение к женам и детям, так и я, если передо мной два приблизительно равноценных творения, всегда более строг к своему. И это происходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечто лучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, что обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прельщают и государственное устройство, и нравы дальних народов, и их языки. И я заметил, что латынь, при всех ее несомненных достоинствах, внушает мне почтение большее, чем заслуживает, в чем я уподобляюсь детям и простолюдинам. Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же, сколько мои, стоят в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои. Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, и восхищаюсь самонадеянно-

зультаты такой деятельности станут шедевром, как, например, «Я помню чудное мгновенье...».

чего я мог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себе отчета в моих возможностях ни заранее, ни уже приступив к делу и познаю их только по результату. Мои собственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного. Отсюда проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, я отношу это скорее за счет удачи, чем за счет собственного умения. И это тем более, что за все, за что бы я ни взялся, я берусь со страхом душевным и с надеждой, что мне повезет. Равным образом мне свойственно, вообще говоря, также и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке как таковом, я охотнее всего принимаю те — и их-то я крепче всего и держусь, — которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижают и оскорбляют нас. Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве. И мне кажется, что корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе.

До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру, и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишний раз ударю пальцем о палец. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.

У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — мою тяжеловесность, любовь к праздности и безделью, — ибо, оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я счел возможным остановиться на ней, и на такой ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрел:

Non agimur tumidis velis Aquilone secundo,
Non tamen adversis aetatem ducimus Austris:
Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re,
Extremi primorum, extremis usque priores*.

* Мы не летим на парусах, надутых попутным ветром, но и не влачим свой век под враждебными ветрами. По силе, дарованию, красоте, добродетели, рождению и достатку мы последние среди первых, но вместе с тем и первые среди последних (лат.). Гораций. Послания, II, 2, 201.

Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоваться своей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, но на практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испытал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, дарованными мне Господом Богом от неисповедимых щедрот его. Мне никогда не случилось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами, а если порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и по-своему. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой, и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Мое детство протекало в условиях весьма благоприятных и нестеснительных, мне было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым пред лицом неприятностей, и я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также и то, что, по моей нерадивости, было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг:

haec nempe supersunt,
Quae dominum fallant, quae prosint furibus*.

Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомленным о понесенных мною убытках; и прошу тех, кто живет вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Не располагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню с различными обступающими нас со всех сторон заботами, не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне бы хотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, следую, насколько это для меня достижимо, такому правилу: «Ожидать всего самого худшего и, в случае если это худшее

* Немало есть и такого, что ускользает от хозяйского взора и идет на пользу вору (лат.). Гораций. Послания, I, 6, 45—46.

грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением». Только к этому я и стремлюсь, именно к этому клонятся все мои рассуждения.

Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избежать ее, сколько о том, до чего, в сущности, не важно, удастся ли мне ее избежать. Ну а если она настигнет меня, что из этого? Не имея возможности воздействовать на события, я действую на себя самого, и покорно слеую за ними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставляя ее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мере я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.

Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, — занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю, что мой ум подавлен неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки, порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний, он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чем бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что до раздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего пользуюсь ее самой наезженной частью, хотя она и наиболее грязная и наиболее вязкая, ибо, стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайней мере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше уж пусть судьба одним ударом свергнет меня в страдание:

*dubia plus torquent mala**.

Когда приходит беда, я встречаю ее, как подобает мужчине, но во всех иных обстоятельствах веду себя как суший младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Даже те черты моего характера, которые, вообще говоря, нельзя назвать плохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свой-

* Ибо мучительнее всего неизвестность (лат.). Сенека. Агамемнон, 480.

NB *Господин де Монтень, это о нас! Как будто не существует временного пространства в 400 лет!*

и свободолюбие будут сочтены несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худа без добра! Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности.

Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вешью самую что ни на есть обычную — если к этому не присоединялись дру-

NB *Как горько это читать — и видеть похожее у своих современников. И как отрадно сознавать, что тенденция к воспроизводству рабов и трусов в каждом поколении не уничтожила в человеке (пусть из немногих) благородное сердце, в котором если и не «все хорошо...», то «по меньшей мере все человечно».*

И верно. Ложь прежде всего утомительна. И ужасно утомляют люди, которые говорят одно, думают другое, а делают совсем иначе. Им кажется, что они так ловки... А при этом неловко всем, кроме тех, кто, глядя вам в глаза, лжет.

ственные мне уступчивость и покладистость назовут, разумеется, слабостью и малодушием: честность и совесть найдут нелепой шепетильностью и предрассудком; искренность

и жажде мести, снисходительных по отношению к тем, кто нанес им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не двуличных, не податливых, не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они

не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или по меньшей мере все человечно.

Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, цenia истину превыше всего, не обращать вни-

мания на одобрение и порицание, исходящие от других. Аполлоний сказал, что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить чистую правду.

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком вполне правдивым.

Моя душа, по своему складу, чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней; я стораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если порой у меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданно принуждают к этому обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, — это было бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похвалиться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях» (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать», — это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман. *Quo quis versutior et callidior est, hoc invisior et suspectior, detracta opinione probitatis**. Человек, который, подобно Тиберию, взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной миной разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и от-носительно многого другого: я не выношу подчинения, обяза-тельств и насилия над собой. То, что я делаю легко и естествен-но, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к это-му настойчивыми и властными понуканиями. То же самое мо-

* Чем человек изворотливее и ловчее, тем больше в нем ненависти и подозрительности, когда он утратил свою репутацию честности (лат.). Цицерон. Об обяз., II, 9.

ВВ *Внутреннее побуждение — могучая сила. Сколько проблем со школьниками, потерявшими интерес к учению и школе! А в жизни тот же подросток порой удивляет недюжинной силой воли в ситуациях риска, борьбы за свое человеческое достоинство среди взрослых или сверстников. Порой ведь и не помнит, как он догнал хулигана или поборол в мальчишеской тусовке физически самых крепких сверстников.*

мотрению — вести себя в угоду дамам, согласно тамошним обычаям, присутствовавшим при этом, как подобает доброму собутыльнику, но тут со мной случилось нечто весьма забавное: эта угроза и приговора к тому, чтобы пить сверх моей обычной и естественной меры, сжали мне горло, да так туго, что я так и не смог проглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом: я чувствовал себя пьяным и пресыщенным той выпивкой, которой было полно мое воображение. Это явление отчетливее всего наблюдается у людей, наделенных могучим и необузданным воображением, но оно все же естественно, и нет ни одного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Один превосходный лучник был приговорен к смерти; ему предложили помилование с условием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел и тем самым дать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако, подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения воли рука его дрогнет и, вместо того чтобы снасти себя, он утратит славу, завоеванную им меткой стрельбой. Человек, который часто прогуливается в одном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно покроет одинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий раз того же размера; но если бы он стал отсчитывать и отмеривать свои шаги, оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает того, что ему удавалось проделывать естественно и без всяких усилий.

Если всякий жлет похвалы за быстроту и живость ума, то я притязую на нее за его строгость, если — за какое-нибудь достойное быть отмеченным и выдающееся деяние или какую-либо исключительную способность, то я — за упорядоченность, со-

гу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою в повиновении, когда я заранее предписываю им послужить мне в определенных обстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание, твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха или неувольствия и цепенеют.

Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостью не отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить, я попытался — хотя мне и была предоставлена свобода поступать по своему ус-

ВВ *Внутренняя целостность — великое благо для человека, она дает ему ощущение свободы и независимости от стереотипов (поведенческих, ценностных и пр.). Именно внутренняя целостность позволяет человеку быть самим собой в любых жизненных ситуациях.*

гласованность и уравновешенность моих мнений и нравов. Omnino si quidquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas universae vitae, tum singularum actionum, quam conservare non possis, si, aliorum naturam imitans, omittas tuam*.

Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как я сказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название самомнения.

Что до второго слагаемого, состоящего в чрезмерно низком мнении о других, то я, право, не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в свое оправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить все, каким оно мне представляется.

Возможно, что непрерывно поддерживаемое мной общение с мудростью древних и сложившийся во мне образ этих беспрельдно богатых душ прошлого отвращают меня и от других, и от себя самого; быть может, мы и впрямь живем в век, не способный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на есть посредственностью, но так ли, иначе ли, а я не знаю ничего заслуживающего подлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой доскональностью, которая необходима, чтобы иметь право судить о них; но те, с кем мое положение чаще всего сталкивает меня, в большинстве своем не утруждают себя чрезмерной заботой о просвещении своих душ; в их глазах наивысшее счастье — почести и наивысшее совершенство — мужество.

Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.

Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать то, чего я не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что, по моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества, которых у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать их недостатки.

Даже моим врагам — и им я воздаю сполна то, что должен, по чести, воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда: я не примешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательства к ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.

* Если вообще есть что-либо почтенное, то это, без сомнения, цельность всей жизни, всех отдельных поступков; ты не сможешь достигнуть этого, если, отказавшись от своего характера, будешь подражать другим (лат.). Цицерон. Об обяз., I, 31.

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал.

Рассказывают о следующем похвальном обычае у персов: они неизменно говорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны, уважительно и соблюдая полную справедливость, так, как того заслуживала их доблесть.

Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами: кто остроумием, кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, кто красноречием, кто еще чем-либо другим, но человека великого в целом, совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы одним из них, но в такой исключительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищение и его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавших некогда на земле, — нет, с таким человеком моя судьба не дала мне встретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал, — я говорю о природных дарованиях и способностях — и самым благородным был Этьен де Ла Боэси; это была душа, до краев полная достоинств, прекрасная, с какой бы стороны на нее ни взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершил бы великие и памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своим богатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий науками.

Не знаю, как это так получается, — а что так получается, это бесспорно, — но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, — в тех обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются обычные недостатки; или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ и важничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо явственнее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом; недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом. Точно так же поступают и те, кто, тыча всем в глаза вещи, которые сами по себе и на своем месте весьма хороши, пользуется ими безо всякого толку и меры и, оказывая честь своей памяти за счет разума, оказывая честь Цицерону, Галену, Ульпиану и святому Иерониму, выставляет себя самого в смешном виде.

Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными. и оно добилось своего: оно так и не

NB *Можно ли в процессе обучения облагородить душу и изменить характер? Монтень говорит — можно и в подтверждение приводит примеры подобного воздействия обучения на исправление нравов и изменение характеров обучающихся. В современной практике такое обучение называют развивающим или воспитывающим. Однако не каждый учитель способен так организовать образовательный процесс, чтобы оказывать существенное, непрерывное и постоянное воздействие на личность всех своих учеников. Для этого важно не только владеть педагогическим мастерством, но и иметь нечто большее...*

научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям, но зато мы навсегда запомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самое слово, служащее для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем. И если мы ни из наблюдения, ни на основании личного опыта не знаем того, что есть добродетель, то мы хорошо знаем ее на словах и постоянно твердим о ней. Когда речь идет о наших соседях, нам недостаточно знать, какого они роду-племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают; мы хотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость и добрые отношения. А наше образование между тем забывает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, как если бы то были фамильные прозвища и ветви генеалогического древа, несколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хоть какие-нибудь знакомство и близость. К тому же для нашего обучения отобраны не те книги, в которых высказываются здравые и близкие к истине взгляды, но написанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и заставляя нас затверживать эти красиво звучащие слова, нас принуждают загромождать память нелепейшими представлениями древности.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того как это произошло с Полемоном, распутным юношей-греком, который, отправившись случайно послушать один из уроков Ксенократа, не только оценил полностью красноречие и ученость философа и не только принес домой много полезных знаний, но и вынес оттуда плоды еще более ощутительные и более ценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился. А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобное воздействие нашего обучения?

Глава 18

ОБ ИЗОБЛИЧЕНИИ ВО ЛЖИ

Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь, кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе, наиболее привычных речах и превратностях судьбы моих предков! С каким вниманием ловил бы я каждое его слово! И в самом деле, только безнадежно дурной человек может относить-

В Сложившаяся ныне ситуация отсутствия взаимодействия детей и старшего поколения — бабушек и дедушек, а точки нарушения преемственности поколений и тесного общения в совместной с ними жизни привели к удивительным явлениям. Так, например, на уроках отечественной истории XX века в процессе изучения периодов «оттепели» и «застоя», мои ученики ощущают их столь же отдавленными и абстрактными, как и эпоху Нерона. Очевидцы этих событий — бабушки и дедушки — живы, но они не беседуют со своими внуками о жизни предыдущих поколений. Чем это можно объяснить? Равнодушием взрослых? Неуважением сегодняшних детей к традициям своих предков, неприятием их ценностей?

на мной, в какой я сам создан моей книгой. Это — книга, неотделимая от своего автора, книга, составлявшая мое основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни, а не занятие, имевшее какие-то особые, посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Потерял ли я даром мое время, с такой настойчивостью и тщательностью отдавая себе отчет в том, что я такое? Ведь те, кто лишь изредка и случайно оглядывают себя мысленно, не записывая своих наблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя так глубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения, своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто ставит перед собой задачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению со всею искренностью, со всем жаром своей души; ведь даже сладчайшие удовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собою, уносятся, не оставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но и окружающих нас людей.

ся с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать, часов слов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я не убрал из моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец. *Paterna vestis et annulus, tanto carior est posteris, quanto erga parentes maior affectus**.

И если даже случится, что ни одна душа так и не прочтает моих писаний, потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных часов на столь полезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений, вследствие чего и самый образец приобрел большую четкость и некоторым образом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере созда-

* Отцовская одежда и кольцо тем дороже детям, чем сильнее они любили своего отца (лат.). Августин. О Граде Божием, I, 13.

Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений, — а докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны! Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что, хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе. Для того чтобы приучить мое воображение к некоторому порядку и плану даже тогда, когда оно предается фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий и расточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге и зарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Я прислушиваюсь к своим мечтаниям потому, что мне надлежит занести их в мой протокол. Сколько раз, будучи огорчен чьим-либо поступком, порицать который во всеуслышание было бы и неучтиво и неразумно, я облегчал свою душу на этих страницах не без тайной мысли о поучительности всего этого для других. И эти поэтические шлепки.

NB *Для самопознания человеку, особенно в подростковом возрасте, очень важно, думается, иметь возможность высказываться доверительно и не быть прерванным невнимательным или нетерпеливым собеседником (замечанием, возражением, порицанием, резкой оценкой, усмешкой и пр.). Жаль, что наше молодое поколение, с развитием компьютерной техники, телефонной и других современных видов связи, утратило желание писать письма друзьям, бабушкам и дедушкам, родителям. Ведь это замечательная практика оформления порой бесвязных впечатлений в разумные суждения. Как правило, в таких письмах дети писали обо всем, что их волнует, тревожит или радует. Причем письма писались нередко по прошествии некоторого времени после описываемых событий. Это была возможность вернуться в мыслях к этим явлениям, людям или предметам, осознать и прочувствовать свои первые впечатления. Понимая педагогическую ценность такой формы самовыражения, я советую своим детям вести дневник, в котором можно доверительно высказать все, что наболело и что так волнует душу. Такая практика помогает лучше и правильнее познать себя, разобраться в своих сомнениях или терзаниях, ценностях и притязаниях, желаниях и возможностях.*

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава 2 О РАСКАЯНИИ

Мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад, я не противоречу никогда. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими и я был бы решительнее, но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса.

Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями: у каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому.

Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенности и необычности, что до меня, то я первый повествую о своей сущности в целом, как о Мишеле де Монтене, а не как о филологе, поэте или юристе.

Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны — это значит, что дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести. Прочная, но смелая и решительная душа может, при случае, обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение — чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую

душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного как на войне, так и в мирное время и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочное. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня Бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу самому себе. *Quae fuerant vitia, mores sunt**.

Иные мои друзья по личному ли побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полной откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях, и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагая, ошибки, предпочитая впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но, давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. *Tuo tibi iudicio est utendum***. *Virtutis et*

* Что было пороками, то теперь нравы (*лат.*). Сенека. Письма, 39, 6.

** Тебе надлежит руководствоваться собственным разумом (*лат.*). Цицерон. Туск., II, 26.

vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublata, iacent omnia*.

Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и от притворства.

Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: в глубине его души все нелепо и отвратительно, и даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править парадом — все эти поступки окружены блеском и обращают на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой — это

В *Очень верно замечено. Многие люди, движимые жаждой славы в своих действиях и поступках, как правило, утрачивают величие, становясь смешными в глазах многих людей. Так, например, в случае с Александром Македонским после его похода в Египет. Всем афинянам представлялось нелепой его претензия на обожествление. И другой пример Монтеня — Сократ. Вот он смешным никогда не был. Наивным — возможно, трогательным — да, но великим во всем — и в мыслях, и в поступках, и в повседневной жизни.*

вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель, служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явлен-

* Собственное понимание добродетели и пороков — самое главное. Если этого понимания нет, все становится шатким (лат.). Цицерон. О пр. бог., III, 35.

ная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем. Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топки и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана иначе, как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славой этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма, мне было бы трудно не считать афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.

Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах:

Sic ubi desuetae silvis in carcere clausae
Mansuevere ferae, et vultus posuere minaces,
Atque hominem didicere pati, si torrida parvus
Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque,
Admonitaeque tument gustato sanguine fauces;
Fervet, et a trepido vix abstinet ira magistro*.

* Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, теряют в своем облике черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей; но едва в их пересохшую пасть попадает хоть капля крови, в них просыпаются ярость и бешенство; под действием отведанной крови у них разбухает глотка, и они распаляются гневом, готовым вот-вот обрушиться на перепуганного хозяина (лат.). Лукан, IV, 237—242.

Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа сама собой пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплён множеством других.

Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают, и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые не многого стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а также буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движении и бесконечно изменчивы. За свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности — особенно изобилует ими человеческая природа, — немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я несколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня одолевает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаянием.

Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекло весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, — ответил тот, — доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то». Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступаю в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это несколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.

Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам — разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне познания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их — такого никогда не бывает. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания — не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздаст мне за это полной мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю.

Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен, а в том, по-моему, чтобы хорошо жить.

Глава 3 О ТРЕХ ВИДАХ ОБЩЕНИЯ

Негоже всегда и во всем держаться своих нравов и склонностей. Наиважнейшая из наших способностей — это умение приспособливаться к самым различным обычаям. Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни — означает существовать, но не жить. Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем: *Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret**.

* Его гибкий ум был настолько разносторонен, что, чем бы он ни занимался, казалось, будто он рожден только для одного этого (лат.). Тит Ливий, XXXIX, 40.

Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души: обыкновенно ее захватывает только то, что для нее трудно и хлопотно, и лишь этому она предается с горячностью и целиком. Сколь бы несложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придает ему такое значение, что ей приходится тратить на него все свои силы. По этой причине ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы вострепнуться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться, *vitia otii negotio discutienda sunt**, ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие — самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его, он стремится самым различным образом проявить свою мощь: он старается блеснуть то остроумием, то строгостью, то изяществом; он сдерживает, соразмеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает он побуждения к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений.

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом — *quibus vivere est cogitare***. Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. «В этом, — говорит Аристотель, — и состоит труд богов, созидающий и их счастье и наше». Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.

* Пороки праздности необходимо преодолевать трудом (лат.). Сенека. Письма, 56, 9.

** Те, для кого жить — значит размышлять (лат.). Цицерон. Туск., V, 38.

Мы живем среди людей и вступаем с ними в разные отношения; если их повадки несносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми — а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные (никчемна мудрость, не умеющая принорочиться к всеобщей глупости), — то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела: ведь и частные и общественные дела вершатся именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения. Господи Боже! Сколь драгоценна помощь благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой! Нет науки полезнее этой! «По мере сил» было излюбленным выражением и присловьем Сократа, и это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых я не могу обойтись, и тянуться к одному, двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо для меня недостижимой. От природы я мягок, чужд всякой резкости и заносчивости, и это легко может избавить меня от зависти и враждебности окружающих — ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я, не скажу — быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Однако свойственная мне холодность в обращении не без основания лишила меня благосклонности некоторых, превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно.

А между тем я бесспорно обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Так как я жадно хватаюсь за пришедшиеся мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удастся сблизиться с привлекательными для меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испытывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю естественность и сникаю, когда не лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью, и в самом деле отбила у меня вкус ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний, — это «животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное». Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе, как с опасностью для себя или неискренне.

Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка.

Люди, общества и дружбы которых я постоянно ишу, — это так называемые порядочные и неглупые люди; их душевный склад настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок; это — характер, созданный, в основном, природой. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это — соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета. Гипподам утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по одной походке. Если ученость изъясляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее — разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука — не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.

Оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общение первого вида до того редко, что не может спасти от скуки; что же касается общения с женщинами, то оно с годами сходит на нет; таким образом, ни то ни другое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение с книгами — третье по счету — гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.

Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании.

Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное.

Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточно взяться за чтение; оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что я прибегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений — более существенных, живых и естественных; они всегда встречают меня с той же приветливостью.

Принято говорить, что кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком — одно удовольствие, и наш Иаков, король Неаполя и Сицилии, — красивый, молодой и здоровый, — заставлявший носить себя по стране на носилках, в которых он лежал на жалкой перине, облаченный в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая из дворян и придворных, с конными носилками и верховыми лошадьми всевозможных пород, являл собою пример половинчатого и еще неустойчивого самоуничужения: незачем жалеть хворого, если у него под рукой целительное лекарство. Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения — вот, в сущности, и вся польза, извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь к ним почти так же часто, как те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюсь книгами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладиться ими, когда пожелаю; моя душа насыщается и довольствуется таким правом на обладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, — ни в мирное время, ни на войне. И все же бывает, что я не заглядываю в них по нескольку дней, а то и месяцев. «Вот, возьмусь сейчас, — говорю я себе, — или завтра, или когда я того пожелаю». Между тем время бежит и несется, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие,

NB *Так, как Монтень говорит о книгах, можно сказать о друзьях, знакомых, приятелях в зависимости от степени близости.*

И если в XVI веке во Франции нашлось бы немало современников Монтеня, кому были бы близки его мысли, то сегодня я с уверенностью могу сказать, что практически для всех россиян сохраняется трепетное отноше-

когда наступит мой час, и ясно сознавая, насколько они помогают мне жить. Они — наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода, и я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить и не запасшихся им. И развлечения любого другого рода, сколь бы незначительными они ни были, я предаюсь с тем большей охотой, что мои книги никуда от меня не уйдут.

Книги (для умеющих их выбирать) обладают многими приятными качествами; но не бывает добра без худа;

ние к книге. А значит, потребность в чтении остается естественной потребностью, как пища, воздух... И сегодня многие не мыслят свою жизнь без книг, чтобы больше узнать, найти любимые строчки стихов, ощутить трепет перевертываемых страниц, ведущих в неизвестность. Так было и так будет всегда в процессе познания мира.

Этому удовольствию столь же не свойственны чистота и беспримесность, как и всем остальным; у книг есть свои недостатки, и притом очень существенные; читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает это время в бездействии, расслабляется и поникает. Я не знаю излишеств, которые были бы для меня губительнее и которых на склоне лет мне следует избегать с большей старательностью.

Глава 5 О СТИХАХ ВЕРГИЛИЯ

Я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всем, чего не боюсь делать; и не подлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны. Наихудший из моих поступков и наихудшее из моих качеств кажутся мне не столь мерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякий скроммен в признаниях; так пусть же он будет скромнен в поступках; готовность впасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать. Да будет Господу Богу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моих соотечественников к свободе, поставить их выше трусливых и мелочных добродетелей, порожденных нашими несовершенствами; и пусть ценой моей неумеренности мне будет дано повести их к разуму! Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их и от себя.

А если он видит их, то они представляются ему недостаточно скрытыми, и он старается убрать и упрятать их от собственной совести. *Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiam nunc in illis est; somnium narrare vigilantis est**. Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что почитавшееся нами прострелом или ушибом — на самом деле подагра. Недуги души, набираясь сил, напротив, делаются все более темными и непонятными. И больной, охваченный тягчайшим из них, менее всего чувствует это. Вот почему следует почаще вытаскивать их на свет

* Почему никто не признается в своих недостатках? Потому, что они остаются поныне при нем; чтобы рассказать о своем сновидении, нужно проснуться (лат.). Сенека. Письма, 53, 8.

Божий и ворошить беспощадной рукой, выискивать их и извлекать из глубин нашего сердца. Удовлетворение как в добрых, так и в дурных делах — это порою только признание в них.

Мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой. Большинство совершаемых мною поступков вызвано примером со стороны и не вытекает из моего выбора. Я никоим образом не жаждал этого шага; меня взяли и повели, и я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами. Ибо не только вещи сами по себе стеснительные, но и любая вещь, какой бы отвратительной, мерзкой и отнюдь не неизбежной для нас она ни была, не может не стать в конце концов приемлемой в силу известных случайностей и условий, — вот до чего шатки человеческие устои!

Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя. Свою свободу следует ревниво оберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть и презрение, тот поступает несправедливо и недостойно.

Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем выше и почетнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах, через всевозможные портики и переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов. Это отвлечение идет нам на пользу; мы задерживаемся и любим дольше; без надежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего.

Глава 8

ОБ ИСКУССТВЕ БЕСЕДЫ

Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблагоприятных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца, а также упоминаемый Павсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокости увлечет меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердечия. Отличнейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк-венецианец верхом на коне. А чтобы блюсти чистоту языка, неправильную речь мне слушать полезнее, чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственнее исправлять

людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью, противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее, наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость, и у резких учился быть как можно снисходительнее. Однако той же меры, что они, я достичь не мог.

Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня — наиболее приятный. Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я наверно предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне придавали в своих Академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа и слева, его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увлекают меня вперед и возвышают над самим собой. Полное согласие — свойство для беседы весьма скучное.

Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная зараза. По опыту своему я знаю, чего это стоит. Я люблю беседы и споры, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставлять себя на показ перед сильными мира сего, шеголять своим умом и красноречием я считаю делом недостойным порядочного человека.

Глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мною случается, — тоже недуг не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток.

В беседу и спор я вступаю с легкостью, тем более что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не считал бы вполне допустимым порождением человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чаша весов совсем пуста, пусть на другую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки. Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа, четверг, а не пятницу, стараться быть за

столом не тринадцатым, а двенадцатым или четырнадцатым, охотнее наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествуешь, чем как он перебегает ее, и при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. Все эти выдумки, которым верят окружающие, заслуживают хотя бы того, чтобы их выслушивать: по мне это бабьи сказки, но и бабьи сказки уже кое-что. Народные приметы и гадания все же не ничто, а нечто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порок бессмысленного упрямства.

Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим поучений и наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательность его, а каким образом, всеми правдами или неправдами, его опровергнуть. Вместо того чтобы раскрыть объяснения, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови. Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться.

Neque enim disputari sine reprehensione potest.*

Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я предпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помутила ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно биться в наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились чем-то вещественным, вели им счет и чтобы слуга мог сказать нам: в прошлом году вы потеряли сотню экю на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягивая ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение. Если, критикуя мои писания, принимают не слишком высокомерный и наставительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое меняю в написанном мною скорее из соображений учтивос-

* Ведь нельзя спорить, не опровергая противника (*лат.*). Цицерон. О высш. благе, I, 8.

ти, чем для того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе я готов легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать свои мнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор: у них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки; не хватает у них духу и на то, чтобы самим принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность, что мне почти безразлично, идет ли речь о том или о другом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе и осуждать самого себя, что мне все равно, если это делает кто другой: главное ведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится: я звал одного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточно верят, и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать ли его совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые ему делали, может быть, происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и, будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение, а между тем именно слабому следует, по справедливости, со всей готовностью стать на правильный путь. И я, действительно, больше ищу общества тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, — удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит. Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собою, когда в самом пылу спора заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать и парировать все удары, которые на-

NB *Как трудно научить ребят слушать друг друга и слышать другого человека — вслушиваться в речь оппонента и понимать смысл сказанного, вычленять рациональное зерно для развития дискуссии, не только быть выдержанным, но и не терять предмета разговора и пр. На самом деле таким умением владеют и не все взрослые.*

носятся мне по правилам поединка, даже самые неумелые, но не переношу ударов неправильных. Суть дела меня трогает мало, высказываемые мнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок

и возникает, то потому, что спор переходит в перебранку, а это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уводят их от сути спора: речь идет все о том же. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всяком случае все время понимают, о чем идет речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за все это краснеть.

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.

Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для нашего разума, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаяемая злобным раздражением!

Враждебное чувство вызывают в нас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. Вот почему Платон в своем государстве лишил права на спор людей с умом ущербным и неразвитым.

Зачем отпрапляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как падо? Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нем. Я имею в виду не приемы схоластических силлогизмов, а естественный путь здравого человеческого разумения. К чему это все может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой — на восток, оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частных. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другой залез слишком высоко, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает слова и мысли или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свое невежество либо из глупой, ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары и все равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь убранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и

тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом. И, наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов, зато он забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства.

Мир наш — только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути, защитнику дела не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алкивиад.

Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают: меня занимает не самый предмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я завязать знакомство с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого.

NB *Косноязычие — бич и нашей современной молодежи. Мы встречаемся с этим явлением не только у классной доски или на страницах ученических тетрадей, но и на улице, в магазине, на телевидении. К сожалению, и в школе, и в вузе, да и в семье, на улице, на производстве мы не обращаем серьезного внимания на культуру речи человека. А жалко! Культура речи отражает культуру и уровень развития мышления.*

Любой человек может сказать нечто, соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие. Вот почему меня раздражает не сказанное неверно по незнанию, а неумение сказать это хорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем я был связан, проявляли полную неспособность к беседе. Даже раз в год я не выскажу возмущения ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у нас происходят стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своих тупых, ослиных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что и почему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня пря-

мо до отчаяния. Самый для меня болезненный удар по голове — тот, который мне наносит другая голова, я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявили способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добрую волю, но от чурбана не на что надеяться и нечего ждать.

Не только упреки, которые мы делаем друг другу, но и наши доводы, и наши аргументы в спорах большей частью можно обратить против нас же и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этому достаточно яркие примеры.

Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, ибо тогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий должен быть обязательно непричастен к тому же греху. Я имею в виду, что, осуждая недостатки другого человека, о котором сейчас идет речь, мы тем самым отнюдь не избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силах справиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремление излечить от него другого человека, в котором дурное семя, может быть, не так глубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным в ответ на упреки обвинять собеседника в том же грехе. Не все ли это равно? Упрек остается справедливым и полезным.

Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечего и удивляться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такое непрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешних форм поведения и что именно в них наиболее полным и действенным образом проявляется всякий общественный порядок. Ведь мы всегда имеем дело с человеком, а всего примечательнее, что природа человеческая в основе своей — телесна. Пусть те, кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную, не удивляются, что есть люди, считающие, что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она не держалась среди нас больше потому, что стала знаком, именем и орудием общественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутренним качествам. То же самое и в наших диспутах: важный вид, облачение и высокое положение говорящего часто заставляют верить словам пустым и нелепым. Никому и в голову не придет, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет за душой ничего, кроме этого уважения толпы, и что человек, которому поручается столько дел и должностей, такой высокомерный и надменный, не более искусен, чем какой-то другой, издали низко кланяющийся ему и ничьим доверием не облеченный. Не только слова, но и ужимки таких людей принимают во внимание, считаясь с ними, и каждый старается истолковать их самым лучшим и основательным образом. Если они снисходят до собеседования с обыкновенными людьми и им приходится выслушать что-либо, кроме выражений почтительного одобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта: они, мол, слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта, вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учете четырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего не доказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли и не может убедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело. Так, в концерте мы слышим не

В Все это в равной мере можно отнести и к учительству. Недостаточно иметь диплом учителя, встать по другую сторону класса и поучать. К 13—14 годам у ребят накапливается значительный жизненный и школьный опыт (порой и горький), развивается способность к критическому осмыслению действительности, и мы, взрослые — прежде всего родители и педагоги, — оказываемся в фокусе их «взгляда». Если не всегда ученики получают право высказывать свои суждения о людях, о жизни, о себе, то не стоит забывать, что право иметь свое мнение они имеют всегда.

лютию, спинет или флейту, а созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создается их взаимодействием. Если путешествия, совершенные важными лицами, и отправление ими должностей пошли им на пользу, пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него все возможные доводы и выводы. Никогда не было столько историков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как в складе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений, поучений. В жизни это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчас стремимся, — мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе эти рассказчики и летописцы событий.

Мне ненавистна всякая тирания — и в речах, и в поступках. Я всегда встаю против суетности, против того, чтобы внешние впечатления затуманивали нам рассудок, а так как необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все.

Rarus enim ferme sensus communis in illa
Fortuna*.

Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самом деле заслуживают, именно потому, что они за слишком многое берутся и слишком выставляют себя напоказ, без достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно еще предполагать любые возможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. Вот почему именно среди ученых мы так часто видим умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники: такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука — дело очень нелегкое, оно их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощен, и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и

* При столь высокой судьбе редко когда встречается простой здравый смысл (лат.). Ювенал, VIII, 72—73.

перерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов; а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа, берясь за философию, наносят только ущерб ее достоинству. Оружие это в худых ножнах кажется и никчемным, и даже опасным. Вот как они сами себе портят дело и вызывают смех:

Humani qualis simulator simius oris,
Quem puer arridens pretioso stamine serum
Velavit, nudasque nates ac terga reliquit,
Ludibrium mensis*.

Точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы; и если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них ожидать большего, они и должны делать больше. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу не только тем, что придает внушающую почтение важность, но и тем, что порою является для них весьма выгодной и удобной. Так, Мегабиз, посетив Апеллеса в его мастерской, долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь: «Пока ты молчал, ты в своем роскошном наряде и золотых украшениях казался нам чем-то весьма значительным. Теперь же, после того как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последний подмастерье». Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего его великоления он не имел права проявлять невежество простолюдина и нести вздор о живописи: ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток.

Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уже одним этим установил бы самую совершенную форму государственности.

Отлично! Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но еще не все. Ибо справедливо изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия. Карфагеняне взыскивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо. А народ римский нередко отказывал в триумфе полководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы, только за то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, что им повезло. Обычно

* Как обезьяна с подобием человеческого лица, которую, когда она постарела, мальчик потехи ради обрядил в роскошную ткань, оставив ей голую спину и голый зад, — забава для пиришеств (лат.). Клавдиан. Против Евтропия, I, 303—306.

приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам свое могущество и унижить нашу самоуверенность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести — удачу. И благосклоннее всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от нее. Вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучного разрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром перс Сирам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда он рассуждает так умно, сказал, что рассуждения зависят только от него самого, а успех в делах — от судьбы; удачливые простаки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. В нашей жизни почти все совершается как-то само по себе:

*Fata viam inveniunt**

Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное сведение. Наше участие в каком-либо предприятии — почти всегда дело навыка, и руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумными соображениями. Пораженный в свое время важностью одного дела, я узнал о тех, кто привел его к удачному концу, как они действовали и на каком основании, и обнаружил во всем этом лишь самую обычную посредственность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всего полезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньшее впечатление.

Вот и другое соображение, которое я считаю весьма полезным: во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажется нам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. Каждый может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и, выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчета в подлинном значении своих слов. Я и на своем личном примере мог бы показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствовано у другого. Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо или разумно противопоставить ей другую, или же отступить и, сделав вид, что не расслышал собеседника, основательно со всех сторон прощупать, что он в сущности имел в виду. Может случиться также, что мы слишком остро отзовемся на удар, которым нас вовсе не собирались сильно затронуть. В свое время мне случалось в пылу спора давать такие ответы, которые понападали гораздо дальше, чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше, а давили на собеседников они всем своим весом. Когда я спорю с сильным противником, то стараюсь предугадать его выводы, освобождаю его от необходимости давать мне разъясне-

* Судьбы находят путь (*лат.*). Вергилий. Энеида, III, 395.

ния, силюсь досказать за него то, что в речах его лишь зарождается и потому не вполне выражено (ведь он так ладно и правильно рассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне). С противниками слабыми я поступаю совершенно противоположным образом: их слова надо понимать именно так, как они сказаны, и ничего дальнейшего не предугадывать. Если они употребляют общие слова: то хорошо, это плохо, — а суждения их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. Высказывающие их люди как бы приветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому она хорошо знакома, обращается к каждому в отдельности, называя его по имени. Но дело это нелегкое.

По несколько раз в день приходилось мне замечать, что умы неосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотах какого-нибудь литературного произведения, выражают свое восхищение по столь неудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своем собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочно воскликнуть: «Как прекрасно!» Этим обычно и отделиваются хитрецы. Но обстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, в чем выдающийся писатель превзошел сам себя, как он достиг высшего мастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы одно за другим — от этого лучше откажитесь. *Videndum est non modo quid quisque loquatur, sed etiam quid quisque sentiat, atque etiam qua de causa quisque sentiat**. Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят они верные вещи. Но посмотрим, насколько хорошо они их знают, откуда идет их разумение. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые не им принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно, на ощупь, мы же относим все это на их личный счет. Вы им оказываете помощь. А зачем? Они несколько не благодарны и становятся лишь невежественнее. Не помогайте им, предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом, о котором идет речь, как люди, опасющиеся обжечься; они не решатся подойти к нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же повертите его туда и сюда, и он сразу выпадет у них из рук, они уступят вам его, как бы прекрасен и достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем! Но если вы начнете учить их и просвещать, они тотчас же присвоят себе все

* Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но также и на то, что каждый чувствует и по какой причине он чувствует именно так (*лат.*). Цицерон. Об обя., I, 41.

преимущества, которые можно получить от ваших разъяснений: «Это я и хотел сказать, так я именно и думал, только не нашел сразу подходящих слов». Подскажите им, как поступить. Чтобы справиться с их чванливой глупостью, нередко приходится поступать круто. Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишь учить, — это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче, завязнут еще глубже, — так, по возможности, глубоко, чтобы их положение стало им, наконец, понятно.

Глупость и разброд в чувствах — не такая вещь, которую можно исправить одним добрым советом. О такого рода исцелении можно сказать то же, что царь Кир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью перед самой битвой: что людям не проникнуться воинственностью и мужеством на поле боя от одной хорошей речи, так же как нельзя сразу стать музыкантом, прослушав одну хорошую песню. Этим можно овладеть только после длительного и основательного обучения.

Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять. Но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного — вот обычай, которого я никак не одобряю. Редко соглашаюсь я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня на это вызывает, и скорее готов ступать в споре, чем выступать в скучной роли учителя и наставника. Нет у меня также ни малейшей склонности писать или говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые, на мой взгляд, вещи ни говорились публично или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же ничто в глупости не раздражает меня так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум.

Беда в том, что разум-то и не дает вам проявлять самоудовлетворенность и самоуверенность, и вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой там, где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны, радостью и верой в себя. Самым несмышленным людям удастся иногда взглянуть на других сверху вниз, с победой и славой выйти из любой схватки. А еще чаще их похвальбы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатление на окружающих, которые обычно недалеко и неспособны разбираться в подлинных качествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре — вернейший признак глупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглубленное, важное и серьезное, чем осел?

Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткими остроумными замечаниями, которые сами собою рож-

даются в веселом и тесном кругу друзей, с полным взаимным удовольствием перебрасывающихся живыми и забавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению. И если в нем нет значительности и серьезности того, другого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можно проявить не меньше изобретательности и остроты и оно не менее полезно, как это полагал и Ликург. Что до меня, то в нем я проявляю больше непосредственности, чем остроумия, и я более удачлив, чем искусен. Зато я безукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не только резкий, но даже обидный. И если мне не удастся тут же на месте найти удачный ответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте, проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях: я умолкаю, с веселой покорностью склоняя голову, и дожидаясь более благоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, не настоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяются выражение лица и голос, и, распаляясь бесполезным гневом, вместо того чтобы дать настоящий отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. В подобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн, самых скрытых своих недостатков, которые в спокойном состоянии не могли бы обнажить без мучительного чувства. И таким образом мы в самих себе получаем полезный урок и предупреждение.

Вообще, когда я хочу составить себе о ком-либо мнение, я спрашиваю его, насколько он доволен собою, по нраву ли ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий, как «я сделал это играючи»,

*Ablatum mediis opus est incudibus istud**,

«я на это и часа не потратил; этого я с тех пор и в глаза не видел». «— Хорошо, — говорю я в таких случаях, — оставим все эти вещи, покажите мне то, что вас целиком представляет, то, по чему, как вы сами считаете, о вас можно справедливо судить!» И еще: «Что вы считаете в своем произведении самым лучшим? Вот это или, может быть, то? Изыскство исполнения или самый предмет, изобретательность вашу или умение рассуждать, или познания?» Ибо, как я замечаю, люди обычно так же ошибаются в оценке своего труда, как и чужого. И не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неумению хорошо разобраться в своем же деле. Творение человека, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел оснований на то рассчитывать по своим знаниям и способностям, может оказаться значи-

* Это произведение было взято [у меня] в разгар работы над ним (лат.). Овидий. Ск. Эл., I, 7, 29.

тельной, чем он сам. Что до меня, то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определенное мнение, чем о ценности моего собственного. И эти свои «Опыты» я расцениваю то низко, то высоко, проявляя непоследовательность и неуверенность.

Глава 9

О СУЕТНОСТИ

Пожалуй, нет суетности более явной, чем как суетно о ней писать. Люди разумные должны были бы усердно и тщательно размышлять надо всем, что так божественно было высказано об этом самым божеством.

Мы не умеем распознавать человеческие способности; их оттенки и их границы с трудом поддаются определению и едва уловимы. На основании пригодности кого-либо к частной жизни заключать о его пригодности к исполнению служебных обязанностей — значит делать ошибочное заключение: такой-то прекрасно себя ведет, но он не умеет вести за собой других, такой-то творит «Опыты», но не очень-то горазд на дела; такой-то отлично руководит осадой, но не мог бы руководить сражением в поле; такой-то превосходно рассуждает в частной беседе, но он плохо говорил бы перед народом или перед лицом государя. И если кто-нибудь отлично справляется с тем-то и тем-то, то это говорит скорее всего о том, что с чем-либо другим ему, пожалуй, не справиться. Я нахожу, что души возвышенные не меньше способны на низменные дела, чем низкие — на возвышенные.

Можно ли поверить, что Сократ неизменно подавал афинянам повод к насмешкам на его счет из-за того, что никогда не умел правильно сосчитать черепки при голосовании своей филы и соответствующим образом доложить о результатах Совету?

Восхищение, с каким я отношусь к совершенствам Сократа, заслуживает того, чтобы судьба этого человека явила столь великолепный пример, извиняющий главнейшие мои недостатки.

Способности наши раздроблены, и каждая из них приурочена к чему-либо строго определенному. Мои отнюдь не многообразны и ничтожны числом. Сатурний заявил передававшим ему верховное начальствование над войском: «Друзья, вы лишились хорошего полководца и приобрели дурного главнокомандующего». Кто похвастается, что в наше занемогшее столь тяжким недугом время он отдает на служение обществу добродетель бескорыстную и искреннюю, тот или вовсе ее не знает, так как воззрения извращаются вместе с нравами (и в самом деле, послушайте, какую они рисуют свою добродетель, послушайте, как большинство из них хвастается своим мерзостным поведением и как они определяют свои житейские правила: вместо того, чтобы изобразить добродетель, они рисуют самую очевидную несправедливость, а также явный порок, и в таком искаженном виде преподносят в

поучение государям), или, если он все же имеет о ней понятие, то похвалается ею безо всяких к тому оснований и, что бы он об этом ни говорил, делает тысячи вещей, за которые его укоряет совесть».

Я охотно поверил бы Сенске, обладавшему большой опытностью в делах этого рода, если бы он пожелал говорить со мною вполне чистосердечно и искренне. Наивысшая степень добропорядочности в таком сложном и затруднительном положении — это смело обнаруживать как свои собственные ошибки, так и ошибки другого.

Глава 10

О ТОМ, ЧТО НУЖНО ВЛАДЕТЬ СВОЕЙ ВОЛЕЙ

Я прилагаю всяческие старания, чтобы с помощью упражнения и размышления усилить в себе душевную неуязвимость, к чему я в немалой мере приурочен самой природой и что является большим преимуществом для человека. Меня увлекает и, стало быть, волнует очень немногое. Взгляд у меня острый, но я останавливаю его лишь на немногих предметах, чувства у меня тонкие и сильные. Но что касается восприимчивости и внимательности, то тут я глух и туп: меня трудно пронять. Насколько это у меня получается, я занимаюсь только собой; но и любовь к себе я бы охотно обуздывал и укрощал, чтобы она не поглотила меня целиком и полностью, потому что и она направлена на предмет, которым я владею по чужой милости и на который судьба имеет больше прав, нежели я. Таким образом, даже здоровья, которое я так высоко ценю, — и его я не должен желать и отдаваться заботам о нем с таким пылом, чтобы болезни стали казаться мне чем-то совершенно невыносимым. Следует держаться между ненавистью к страданию и любовью к наслаждению; и Платон советует избирать средний жизненный путь между этими двумя чувствами.

Но чувствам, отвлекающим меня от себя и привязывающим к чему-либо другому, — им я противлюсь изо всех сил. Я считаю, что хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому. Если бы моя воля с легкостью предоставляла себя в распоряжение кого-то другого, я бы не выдержал этого, — слишком уж я изнежен и от природы, и вследствие давних моих привычек.

Никто не раздает всех своих денег другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, в чем бы мы были настолько же расточительны и в чем скупость была бы полезнее и похвальнее.

Большинство распространенных в мире правил и наставлений ставит себе задачей извлечь нас из нашего уединения и выгнать на площадь, дабы мы трудились на благо обществу. Они задуманы с тем, чтобы, оказав на людей благотворное действие,

принудить их отвернуться и отвлечься от своего «я»; при этом они исходят из представления, что мы слишком за себя держимся и что в этом повинна чрезмерная, хотя и естественная привязанность к самому себе; и в них не упущено ничего, что может быть сказано с этой целью. Ведь мудрецам вовсе не внове изображать вещи не такими, каковы они в действительности, а такими, чтобы они могли сослужить известную службу. Истина иногда бывает для нас затруднительна, неудобна и непригодна. Нам нередко необходимо обманывать, чтобы не обмануться, щуриться и забивать себе мозги, чтобы научиться отчетливее видеть и понимать. *Imperiti enim iudicant, et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sunt, ne errent**. Когда правила эти велят нам любить три, четыре, пятьдесят разрядов вещей сильнее, чем самих себя, они идут по стопам искусного лучника, который целит, чтобы попасть в нужную ему точку, намного выше своей мишени. Чтобы выпрямить изогнутый кусок дерева, нужно гнуть его в противоположную сторону.

Думаю, что в храме Афины-Паллады, как и в остальных известных нам культах, были таинства явные, предназначенные для всех, и таинства более возвышенные и более сокровенные, предназначенные только для посвященных. Весьма вероятно, что именно здесь закладывались корни учения о той дружбе к себе, которой подобает жить в каждом из нас. Это — не та мнимая дружба, что заставляет нас любить славу, науку, богатство и тому подобные вещи такой же всеохватывающей и безграничной любовью, какую мы питаем к членам нашего тела; это — и не та расслабленная и неразумная дружба, с которой случается то же, что бывает, как мы наблюдаем, с плющом, портящим и разрушающим обвиваемую им стену, нет, речь идет о дружбе благой и упорядоченной, как полезной, так равно и приятной. Кто знает ее обязанности и исправно их выполняет, тот поистине в обиталище муз: он достиг вершин человеческой мудрости и доступного для нас счастья. Зная в точности, в чем его долг пред собой, он находит в списке предъявленных к нему требований, что ему надлежит придерживаться обыкновения, принятого другими людьми и всем миром, и в силу этого — служить обществу, выполняя обязанности, которые оно на него возлагает. Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя. *Qui sibi amicus est, scito hunc amicum omnibus esse***. Главнейшая обязанность каждого — это вести себя подобающим образом, и только благодаря этому мы существуем. Кто забывает о том, что ему следует жить свято и праведно, и думает, что, подталкивая и направляя других, тем самым рассчитывается по лежащему на нем долгу, тот — глупец и тупица; а кто отказывает

* Судят люди невежественные, и часто их нужно обманывать, чтобы они не заблуждались (лат.). Квинтилиан, II, 17.

** Знай, что кто друг себе, тот друг и всем (лат.). Сенека. Письма, 6, 7.

себе в удовольствии жить здраво и весело и полностью отдается служению на благо другим, тот, по-моему, также избирает себе плохой и противоестественный путь.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что, взяв на себя должность, кто-нибудь вправе затем отказывать ей во внимании, заботе, словах и поте и крови, если что понадобится:

non ipse pro caris amicis
Aut patria timidus perire*.

Последнее, однако, не правило, а исключение: нужно, чтобы дух был неизменно уравновешенным и спокойным; чтобы он не был бездеятелен, но вместе с тем и не чувствовал гнета и оставался бесстрастным. Обычная деятельность ему нипочем; он деятелен даже у спящего. Но встряхивать его нужно с умом, ибо, в то время как тело ощущает возложенный на него груз в полном соответствии с его действительным весом, дух, нередко в ущерб самому себе, усугубляет и преувеличивает его тяжесть, определяя ее, как ему заблагорассудится. Одно и то же совершается нами с неодинаковыми усилиями и неодинаковым напряжением воли. Прямой связи тут нет. Какое множество людей ежедневно рискуют жизнью, участвуя в войнах, до которых им, в сущности говоря, нет ни малейшего дела, сколь многие бросаются в самую гущу опасностей на полях битв, а случись им понести поражение, они и не подумают спастись от этого хоть чуточку хуже. А иной, сидя у себя дома, вдали от всякой опасности, на которую не решился бы даже взглянуть, с большим нетерпением ожидает исхода войны и переживает ее гораздо сильнее, чем солдат, отдающий ей свою кровь и самую жизнь.

Напряженность и неукротимость желаний скорее препятствуют, чем способствуют достижению поставленной цели: они вселяют в нас нетерпение, если события развиваются медленнее, чем мы рассчитывали, и вопреки нашим предположениям, а также недоверие и подозрительность в отношении тех, с кем нам приходится иметь дело. Мы никогда не руководим тем, что безраздельно над нами властвует и само нами руководит;

male cuncta ministrat
Impetus**.

Кто прибегает только к расчету и своей ловкости, тот достигает большего; он притворяется, изворачивается, в зависимости от обстоятельств откладывает и отступает; если он обманулся в своих ожиданиях, это его не огорчает и не волнует; он неизменно готов к новой попытке и неизменно во всеоружии; и он все-

* Он не боится умереть за дорогих друзей и за родину (лат.). Гораций. Оды, IV, 9, 51.

** Страсть всегда плохо руководит делами (лат.). Стаций. Фиваида, X, 704—705.

гда держит себя в узде. Но кто поглощен своим тираническим и неукротимым стремлением, в том неизбежно бывает много безрассудства и несправедливости; неуждержимость его желания берет над ним верх и подчиняет его себе; он несется вперед, закусив удила, и если ему не улыбнется удача, плоды его стараний ничтожны. Философия хочет, чтобы, собираясь ответить за понесенные нами обиды, мы предварительно поборолли свой гнев, и не для того, чтобы наша месть была мягче, а напротив, для того, чтобы она была лучше нами обдумана и стала тем чувствительней для обидчика; а этому, как представляется философии, неуждержимость наших порывов только препятствует. Мало того, что гнев вносит в душу смятение; он, сверх того, сковывает руки карающего. Это пламя их расслабляет, и они делаются бессильными. Во всем, что бы ни взять, *festinatio tarda est**, и торопливость сама себе ставит подножку, сама на себя надевает путы и сама себя останавливает. *Ipsa se velocitas implicat***. Так, например, для алчности, судя по моим наблюдениям над повседневною жизнью, нет больше помехи, чем сама алчность: чем она беспредельнее и ненасытнее, тем меньшего достигает. И обычно она гораздо быстрее скапливает богатства, когда прикрывается личиною щедрости.

Заметьте, что даже в таких пустячных и легковесных делах, как игра в шахматы, в мяч и другие подобные им, всепоглощающее пылкое увлечение, пробуждаемое в нас неукротимым желанием, тотчас приводит в смятение и расстройство и наш разум, и наше тело: человек забывает все, даже самого себя. Но в ком ни выигрыш, ни проигрыш не порождают горячки, тот всегда остается самим собой; чем меньше волнений и страсти он вкладывает в игру, тем увереннее и успешнее он играет.

И вообще, перегружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное. Есть вещи, с которыми ее нужно лишь поверхностно познакомиться; с

NB *Как можно этого достигнуть? Думается, с раннего возраста ребенка, а затем взрослого человека необходимо приучать осмысливать, анализировать и оценивать все события, происходящие с ним. Поэтому каждому из нас надо выделять время для работы души, душевных трудов с самим собой.*

другими — связать; третьи в нее вложить. Она обладает способностью видеть и ощущать все что угодно, но пишу для себя ей должно черпать только в себе; и она должна быть осведомлена обо всем том, что имеет к ней прямое касательство и что так или иначе является ее достоянием и частицею ее сущности. Законы природы определяют наши истинные потребности. Мудрецы говорят, что бедняков, если исходить из этих потребностей, нет и не может быть и что всякий, считающий

* Торопливость задерживает (лат.). Квинт Курций, IX, 9.

** Поспешность сама себе препятствует (лат.). Сенека. Письма, 44, 7.

себя таковым, исходит лишь из собственного суждения; основываясь на этом, они весьма тонко подразделяют наши желания на внушенные природой и на те, что внушены нам нашим необузданным воображением; те, конечная цель которых ясна, — от природы; те, которые опережают нас и за которыми нам не угнаться, — от нас. Нищете материальной нетрудно помочь, нищете души — невозможно.

Nam si, quod satis est homini, id satis esse potesset,
Hoc sat erat: nunc, cum hoc non est, qui credimus porro
Divitias ullas animum mi explere potesse*?

Сократ, видя, как торжественно проносят по городу бесчисленные сокровища, драгоценности и богатую домашнюю утварь, воскликнул: «Сколько вещей, которых я совсем не желаю!» Ежедневный паек Метродора весил двенадцать унций, Эпикура — еще того меньше; Метрокл зимой ночевал вместе с овцами, летом — во дворах храмов. Sufficit ad id natura, quod poscit**.

Клеанф жил трудом своих рук и хвалился, что если того пожелает, Клеанф сможет прокормить еще одного Клеанфа.

Если то, что требуется от нас природой (речь идет лишь о безусловно необходимом и ни о чем большем), — сущий пустяк (сколько же это в действительности и как немного нужно для сохранения нашей жизни, лучше всего может быть доказано следующим соображением: это такой пустяк, что, неприметный судьбе, он ускользает от ее ударов по причине своей ничтожности), то давайте тратить кое-что и сверх этого, давайте назовем природою наши привычки и условия, в которых каждый из нас живет; давайте ограничим себя, будем держаться этого уровня; пусть наше достояние и наше корыстолюбие не переступают этих пределов. В таких границах они, как мне представляется, извинительны. Привычка — вторая природа и равна ей в могуществе. Если я чего-либо лишен, я считаю, что испытываю лишения. И для меня, пожалуй, невелика разница, отнимут ли у меня жизнь или только ограбят и тем самым ухудшат мое положение, к которому я успел за долгие годы привыкнуть.

Итак, я говорю, что поскольку мы существа слабые, каждому из нас извинительно тянуться к тому, что не превышает названной меры. Ну а тянуться к находящемуся за ее пределами — чистейшее безумие. Это — самое большее, что мы вправе себе позволить. Чем больше наши потребности и наше имущество, тем больше опасность подставить себя под удары судьбы и подверг-

* Если бы то, чего человеку достаточно, удовлетворяло его, он был бы вполне обеспечен; но раз дело обстоит по-иному, как мы можем поверить, что какое-либо богатство способно насытить мои желания? (лат.). Луцилий. Сатиры, V.

** Природа дает достаточно, чтобы удовлетворить природные потребности (лат.). Сенека. Письма, 90, 16.

наться всевозможным невзгодам. Область наших желаний должна быть строго очерчена; пределом их должно быть некоторое, весьма незначительное количество жизненных благ, обеспечивающих нам насущно необходимое; эти желания должны к тому же располагаться не по прямой, конец которой был бы где-то вне нас, а по кругу, смыкаясь крайними точками внутри нас и образуя фигуру небольшого размера. Поступки, совершаемые вопреки этому соображению, крайне важному и существенному, как, например, поступки скупцов, честолюбцев и многих других, которые, сломя голову, бегут вперед и вперед и которых их бег увлекает все дальше и дальше, — поступки порочные и ошибочные.

Небу не приходилось видеть другой столь же глубокой распри, как распря между Цезарем и Помпеем; ничего похожего оно не увидит и в будущем. И все же мне кажется, что я обнаруживаю в этих великих душах поразительную терпимость друг к другу. Это было соперничество в борьбе за почет и за первенство, не приведшее их, однако, к яростной и слепой ненависти, соперничество, не прибегавшее к коварству и поношениям. Даже в их наиболее резких выпадах я открываю следы какого-то взаимного уважения и какой-то доброжелательности и прихожу к выводу, что, если бы это было для них достижимо, и тот и другой предпочли бы добиться своего, не обрекая на гибель соперника. А насколько по-другому дела обстояли у Мария с Суллой; примите же и это в расчет.

Нельзя слепо отдаваться своим страстям и нестись сломя голову в погоню за выгодой.

Души, по своему неразумию видящие вещи только наполовину, извлекают из этого то преимущество, что и неприятные вещи воспринимаются ими не так болезненно, как всеми другими; это духовная скудость, напоминающая в некоторой мере здоровье, и такое здоровье отнюдь не презирается философией. И все же нет ни малейшего основания называть ее мудростью, что тем не менее мы частенько делаем. И в древности некто следующим образом насмеялся над Диогеном, который, пожелав испытать собственное терпение, разделся донага и в самый разгар зимы заключил в объятия снежную бабу. Застав Диогена за этим делом, он обратился к нему с вопросом: «Тебе сейчас очень холодно?» — «Нисколько», — ответил ему Диоген. — «В таком случае, — продолжал его собеседник, — неужели ты полагаешь, что делаешь нечто трудное и исключительное?» Для того чтобы измерять душевную стойкость, нужно знать, каково истинное страдание.

Но душам, которые воспринимают несчастья и нападки судьбы во всей их глубине и жестокости, которые взвешивают и переживают их соответственно подлинному их весу и подлинной горечи, — этим душам следует направлять все свое умение и способности на то, чтобы устранить причины всех этих невзгод

и закрыть для них все и всяческие пути. Как поступил царь Котис? Он щедро заплатил за доставленный ему превосходный и роскошный сосуд, но так как этот сосуд был исключительно хрупким, Котис тут же собственноручно разбил его вдребезги, дабы лишить себя столь вероятного повода для гнева на своих слуг. И я равным образом неизменно стараюсь избегать неясности и запутанности в моих делах и стремлюсь к тому, чтобы мои земли никоим образом не примыкали к владениям моих родственников или тех, с кем меня связывает тесная дружба; ведь такое соседство обычно приводит к ссорам и взаимному недовольствию. Некогда я любил азартные игры — карты и кости; но уже давно заставил себя от них отказаться, и притом только из-за того, что как бы я ни изображал в случае проигрыша полнейшее равнодушие, все же мне не удавалось отделаться от какой-то беспокоившей меня изнутри занозы. Человеку чести, которому подобает до глубины души чувствовать изобличение в какой бы то ни было лжи и самое что ни на есть ничтожное оскорбление, который не может допустить по отношению к себе глупых шуток, преподносимых ему в утешение и возмещение проигрыша, — такому человеку следует всячески уклоняться от сомнительных дел и никогда не ввязываться в крикливые споры. От мрачных характеров и от сварливых людей я бегу, как от чумы, и не вмешиваюсь в беседу, которую не могу вести бесстрастно и хладнокровно, разве только что меня обязывает к ней мой долг. *Melius non incipient, quam desinent**. Итак, лучше всего подготовить себя заранее, не дожидаясь, когда в этом окажется надобность.

Мне хорошо известно, что иные из мудрецов избрали для себя другой путь, что они не страшились ввязываться в жаркие споры на самые разнообразные темы. Эти люди уверены в своих силах, под прикрытием которых могли не бояться, что их противники нанесут им поражение; они противопоставляли несчастьям неодолимость своего терпения.

Те, кто оправдывают свою мстительность или какую-нибудь другую дурную страсть, часто правдиво изображают положение дел, каково оно есть, но не таким оно было. Они говорят нам об этом тогда, когда причины их заблуждений ими облагорожены и возвеличены, но отойдем немного назад, вспомним, как выглядели эти причины в своем изначальном виде, и мы поймем этих людей с поличным. Неужто они хотят, чтобы их проступок казался меньшим, потому что совершен ими давно, и чтобы неправедно начатое имело праведные последствия?

Кто не отменяет отплытия, тому уже не отменить плаванья. Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они вторгнутся внутрь. У кого ней-

* Им легче не начинать, чем остановиться на полпути (лат.). Сенека. Письма, 72, 11.

дет дело с началом, у того оно не пойдет и с концом. Кто не смог помешать их зарождению, тот не сможет помешать им и обрушиться на него.

Не велика хитрость взойти на корабль, но раз уж взошел на него, смотри в оба! Тут уж приходится думать о множестве различных вещей, а это потруднее и посложнее. Разве не много проще совсем не входить, чем войти, чтобы выйти? Словом, никоим образом не следует подражать тростнику, который сначала выбрасывает прямой длинный стебель, но затем, как бы устав и выдохшись, начинает завязывать частые и плотные узелки, точно делает в этих местах передышки, свидетельствующие о том, что у него не осталось ни бывшего упорства, ни былой силы. Гораздо правильнее начинать спокойно и хладнокровно, сберегая свое дыхание и свой порыв для преодоления возможных препятствий и для завершения начатого. Приступив к нашим делам, мы на первых порах управляем ими и держим их в своей воле, но позднее, когда они уже сдвинуты с места, они управляют нами и тащат нас за собой, так что нам только и остается, что идти следом.

Означает ли это, что я утверждаю, будто мои житейские правила неизменно избавляли меня от всех и всяческих затруднений и я с легкостью одергивал и обуздывал свои страсти? Не всегда эти страсти соразмерны с вызвавшими их обстоятельствами и уже при своем пробуждении нередко бывают жестокими и неистовыми. И все же мои правила сберегают немало сил и приносят плоды и бесполезны лишь тем, кто, творя добро, не довольствуется никакими плодами, если его имя не снискивает славы. Впрочем, по правде говоря, выгоды, приносимые этими правилами, каждый подсчитывает на свой лад. Вы достигнете большего, хоть это и доставит вам меньшую славу, если основательно поразмыслите, прежде чем уясните себе сущность дела и пуститесь во все тяжкие. Во всяком случае, не только в этом одном, но и во всех возлагаемых на нас жизнью обязанностях путь тех, кто домогается почестей, значительно отличается от пути, которого держатся равняющиеся на порядок и разум.

Я сплошь да рядом вижу людей, которые рьяно, но нерасчетливо устремляются вперед на ристалище и вскоре замедляют свой бег. Плутарх говорит, что кто по застенчивости или из ложного стыда чрезмерно податлив и с легкостью обещает все, о чем его ни попросят, тот с такою же легкостью нарушает слово и от него отказывается; равным образом, кто легко ввязывается в ссору, не прочь так же легко пойти и на мировую, тогда как твердость, препятствующая мне затевать ссоры, должна побуждать меня упорствовать в них, коль скоро я буду выведен из равновесия и распаюсь гневом. То, о чем упоминает Плутарх, — дурное обыкновение: пустившись в путь, нужно идти до последнего вздоха. «Начинайте с прохладцей, — говорит Биант, — продолжайте с горячностью». Нерассудительность приводит к нестойкости, а она еще несноснее.

В большинстве случаев наши примирения после ссоры быва-
ют лживыми и постыдными; мы стремимся только к соблюде-
нию внешней благопристойности и вместе с тем отрекаемся от
наших истинных побуждений и совершаем по отношению к ним
предательство. Мы приукрашиваем действительность. Мы очень
хорошо знаем, что именно мы сказали и в каком смысле сказали,
и это так же хорошо знают и присутствовавшие и наши друзья,
перед которыми мы хотим выказать свое превосходство. Посту-
паясь нашей искренностью и честью нашего мужества, мы отре-
каемся от своих мыслей и ищем в искажении истины лазейку,
лишь бы, несмотря ни на что, помириться. Мы сами изобличаем
себя во лжи, чтобы извинить изобличения такого же рода, кото-
рые исходили от нас самих. Негоже доискиваться, нельзя ли как-
нибудь по-иному истолковать наши поступки или наши слова;
нужно твердо держаться своего собственного толкования свер-
шенного нами и держаться его, чего бы это ни стоило. Речь идет
о нашей порядочности и нашей совести, а это вещи, не терпя-
щие лжи.

Молва не следует по пятам за всяким хорошим поступком,
если с ним не сопряжены трудности и он не выделяется своей
исключительностью. Даже простого уважения, по мнению стои-
ков, заслуживают далеко не все добросовестные поступки.

Давайте научимся жаждать не большей славы, чем та, что для
нас достижима. Раздуться от восхищения собою самим после
всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка пристало
лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необыч-
ное и которые норовят получить за него цену, в какую он им са-
мим обошелся. И чем больше шума поднимают вокруг того или
иного хорошего дела, тем меньшего оно стоит в моих глазах, так
как во мне рождается подозрение, что оно совершено скорее ра-
ди того, чтобы вокруг него поднялся шум, чем из-за того, что
оно хорошее: выставленное напоказ, оно уже наполовину опла-
чено. Но поступки, которые, выскользнув из рук того, кто их со-
вершает как бы совсем невзначай и безо всякой шумихи, будут
впоследствии выделены каким-нибудь порядочным человеком и,
извлеченные им из тьмы, выставлены на свет единственно по
причине своих достоинств, — такие поступки гораздо чище и
привлекательнее: *Mihi quidem laudabilia videntur omnia, quae
sine venditione et sine populo teste fiunt**, говорит самый прослав-
ленный человек на свете.

От меня требовалось лишь сохранять и поддерживать, а это —
дела довольно незначительные и незаметные. Вводить новшест-
ва — в этом, действительно, много настоящего блеска, но отважи-
ваться на них — вещь в наши дни совершенно запретная; ведь они
и без того одолевают нас со всех сторон, и нам только и остается,

* Мне представляется более похвальным все то, что совершается без хва-
стовства и не на глазах у народа (*лат.*). Цицерон. Туск., II. 26.

что защищаться от них. Воздерживаться от действий — подчас столь же благородно, как действовать, но такое поведение менее на виду; и то немногое, чего я и вправду стою, я стою только благодаря заслугам по этой части.

Глава 13

ОБ ОПЫТЕ

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостает способности мыслить, мы используем жизненный опыт,

*Per varios usus artem experientia fecit:
Exemplo monstrante viam*, —*

средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести. Существует столько разнообразных форм мышления, что мы затрудняемся, какую избрать. Столь же многочисленны виды опыта. Выводы, к которым мы пытаемся прийти, основываясь на сходстве явлений, не достоверны, ибо явления всегда различны: наиболее общий для всех вещей признак — их разнообразие и несходность. Стараясь привести самый яркий пример сходства между вещами, и греки, и латиняне, и мы вспоминаем о яйцах. Однако же находились люди, и между прочим был один такой в Дельфах, которые обнаруживали различие между яйцами: этот человек никогда не принимал одно яйцо за другое и, имея несколько кур, умел разбираться, какое яйцо снесено той или иной курицей. Произведения же наших рук в основе своей несходны: в искусстве ничто никогда не бывает одинаково. Ни Перрозе, ни любой другой фабрикант игральных карт не в состоянии так отполировать и выбелить их рубашку, чтобы хоть некоторые игроки не сумели обнаружить различие между этими картами, увидев их в руках своих партнеров.

Сколько бы новых суждений и взглядов у нас ни вырабатывалось, жизнь породит еще большее разнообразие явлений. Добавь еще в сто раз больше: все равно в числе событий и дел будущего не найдется ни одного, которое среди тысяч уже отобранных и классифицированных нами явлений нашло бы себе настолько полное соответствие, что между ними не обнаружилось бы таких различий, которые потребовали бы и особого суждения.

Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен. За

* Благодаря всевозможным поискам опыт создал искусство, путь к которому указывают примеры (*лат.*). Манилий, 61—62.

ним пойдет кто-то другой (пойдем и мы сами), открывая новые пути. Пытливости нашей нет конца: конец на том свете. Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не страдает — значит, он жив лишь наполовину. Его стремления не знают четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было и в оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых; они не давали настоящего удовлетворения, а только заполняли и тревожили сознание. Все это — беспорядочное, но непрерывное движение вперед, по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши воспламеняются, бегут друг за другом, одна порождает другую.

Так видим мы, склонившись у ручья:
Струю сменяет новая струя,
Друг с другом слиты, вдаль они текут,
Но друг от друга без конца бегут.
Одна другую мчатся заставляет,
Другая третью в беге обгоняет.
Погоня их и бегство — труд напрасный:
Ручей один, хоть струи вечно разны.

Гораздо больше труда уходит на перетолкование толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.

Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — самая малость.

Разве самая первая и самая славная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и последняя цель обучения наукам?

Мнения наши нарастают одно на другое: первое служит ступенем для второго, второе для третьего. Так мы и поднимаемся со ступеньки на ступеньку. И получается, что тому, кто залез выше всех, часто выпадает больше чести, чем он заслужил, ибо, взобравшись на плечи предыдущего, он лишь чуточку возвышается над ним.

Все вещи взаимосвязаны некими общими признаками, никакое подобие не бывает полным, отношения, познающиеся из опыта, всегда не вполне достоверны и совершенны, и однако же сравнению всегда есть за что уцепиться.

Самый мудрый способ верить природе — сделать это как можно более просто. О, какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы являются незнание и нежелание знать! Я предпочел бы хорошо понимать самого себя,

чем Цицерона. Если я буду прилежным учеником, то мой собственный опыт вполне достаточно умудрит меня. Кто восстановит у себя в памяти все неистовство своей недавней гневной вспышки, припомнит, куда она его завела, тот уразумеет лучше, чем из творений Аристотеля, как безобразна эта страсть, и с более глубоким основанием отворачивается от нее. Кто вспоминает о постигавших его бедствиях, о тех, что ему угрожали, о незначительных случайностях, так резко изменивших его жизненные обстоятельства, тот готовится к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего истинного положения. В жизни Цезаря мы не найдем большего числа поучительных примеров, чем в нашей собственной. И жизнь правителя, и жизнь простолюдина — это всегда человеческая жизнь, полная обычных для нее превратностей. Не будем упускать этого из вида. Мы всегда говорим друг с другом о наших самых насущных нуждах. Разве со стороны того, кто помнит, как часто он ошибочно судил о вещах, не глупо доверять постоянно и неизменно своему суждению? Когда доводы другого человека убеждают меня в ложности моего мнения, я не столько узнаю от него нечто новое, узнаю, что проявил невежество именно в данной области (это было бы не такое уж ценное приобретение), сколько убеждаюсь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить все в целом. Так же точно поступаю я и в отношении других своих заблуждений, и следование этому правилу приносит мне большую пользу. Каждый данный случай и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся: я понимаю, что в походке моей не все вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг. Уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, — это еще пустяки; надо понять, что ты по сути своей глуп, — вот наука куда более значительная и важная. Ложные шаги, на которые наталкивала меня моя память, даже когда она была особенно уверена в себе, не остались без пользы: теперь в ответ на все ее клятвы и заверения я затыкаю уши. Первые же возражения, которые встречает ее свидетельство, настораживают меня, и я уже не решаюсь слепо довериться ей в чем-либо существенно важном и положить на нее в деле, где замешан кто-то другой. И хотя другие, может быть, гораздо чаще совершают по недобросовестности те ошибки, в которых я повинен из-за недостатка памяти, все же в том или ином деле я охотнее поверю словам, исходящим из уст другого человека, чем своим собственным. Если бы каждый так же пристально изучал последствия и воздействия страстей, которым он подвластен, как я поступал в отношении тех, которым поддавался сам, он мог бы предвидеть их прилив и несколько умерять его бурное неистовство.

В душевной жизни моей рассудок занимает важнейшее место, во всяком случае он всячески старается его занять. Он не препятствует свободному развитию моих влечений, моим враждебным и дружеским чувствам, даже моей любви к самому себе,

но они не задевают и не замутняют его. Если он не способен исправить прочие мои душевные свойства по своему подобию, то во всяком случае он не поддается их вредному влиянию: он живет сам по себе.

Призыв «познай самого себя» имеет, видно, существеннейшее значение, если Бог знания и света начертал его на фронтоне своего храма как всеобъемлющий совет, который он мог нам дать. Платон говорит, что осуществление этой заповеди и есть следование разуму, и Сократ у Ксенофонта подтверждает это различными примерами. Трудности и темные места любой науки заметны лишь тем, кто ею овладел. Ибо нужно обладать некоей степенью разумения, чтобы заметить свое невежество, и надо толкнуть дверь, чтобы удостовериться, что она заперта. Отсюда и хитроумное платоновское положение, что знающим незачем познавать, раз они уже знают, а незнающим тоже незачем, ибо для того, чтобы познать, надо разуместь, что именно познаешь. Точно так же обстоит с познанием самого себя. Каждый уверен, что в этом отношении у него все в полном порядке, каждый думает, что отлично сам себя понимает, но это-то и означает, что решительно никто о самом себе ничего не знает, как показал Сократ Эвтидему у Ксенофонта. Я, не занимающийся ничем иным, нахожу в этой науке такую глубину и столь бесконечное разнообразие, что все мои изыскания приводят меня лишь к ощущению того, как много мне еще надо узнать. Своей многократно признававшейся мною слабости обязан я склонностью к скромной самооценке, к подчинению предписанным мне верованиям, обязан моим неизменным хладнокровием, умеренностью во взглядах и отвращением к докучной и бранчливой наглости самодовольных всезнаек — главным врагам истины и подлинной учености. Послушайте-ка их речи: любую чепуху городят они торжественным слогом заповедей и законов. *Nil hoc est turpius quam cognitioni et perceptioni assertionem approbationemque praescingere**. Аристарх сказал, что в древние времена с трудом можно было насчитать семь мудрецов, а в его время трудно было найти семь невежд. Разве мы в наше время можем сказать это не с большим основанием, чем он? Самоуверенность и упрямство — явные признаки глупости.

Неустанное внимание, с которым я сам себя изучаю, научило меня довольно хорошо разбираться и в других людях, и мало есть на свете вещей, о которых я говорил бы более успешно и удачно. Часто случается, что жизненные обстоятельства своих друзей я вижу и понимаю лучше, чем они сами. Правильность моего изложения изумила кое-кого из них и заставила их обратить внимание на многое в их собственных обстоятельствах. Приучившись с детства созерцать свою жизнь в зеркале других жизней, я

* Нет ничего постыднее, чем предварять утверждением и одобрением познание и восприятие (*lat.*). Цицерон. Акад. вопр., I, 12.

приобрел в этом деле опытность и искусство, и когда я думаю над этими вещами, от меня ускользает очень небольшое из того, что к ним относится, — из человеческого поведения, настроений, речей. Я изучаю все: и то, чего мне надо избегать, и то, чему я должен следовать. Так и друзьям своим на основании их дел и поступков объясняю я их внутренние склонности, и не просто для того, чтобы распределить эти бесконечно разнообразные действия по определенным видам и рубрикам, а затем четко распределить все, что приведено мною в порядок, по существующим типам и классам.

То, что в царе македонском Персее считали странностью, а именно, что дух его, никогда не пребывая в некоем определенном состоянии, стремился проявить себя в различных образах жизни, в необычных и переменчивых нравах и благодаря этому ни сам Персей, ни другие не в состоянии были понять, что же он за человек, — эти черты представляются мне свойственными всем людям. Особенно хорошо знаю я другого такого же человека, к которому, по-моему, с еще большим правом можно отнести нижеследующее заключение: ему чужд какой бы то ни было средний путь, он по самому неожиданному поводу бросается из одной крайности в другую, он, даже двигаясь куда-то, беспрестанно сворачивает в сторону или возвращается обратно, все его свойства противоречивы, так что наиболее правильное мнение сведется когда-нибудь к тому, что он старался и стремился стать известным из-за того, что его невозможно познать.

Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные суждения о себе. И так как мало таких людей, которые могут выносить это, не оскорбляясь, те, кто решаются высказывать нам, что они думают о нас, проявляют тем самым необыкновенно дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, — это и есть настоящая любовь.

Мне тягостно судить человека, у которого дурных свойств больше, чем хороших. Платон говорит, что у того, кто хочет познать чужую душу, должны быть три свойства: понимание, благожелательность и смелость.

В свое время я был в достаточной мере приучен к свободе и готовности менять свои привычки, но, старея, поддался слабости и стал усваивать определенные постоянные навыки (в моем возрасте переучиваться уже не приходится, надо думать лишь о том, чтобы сохранить себя в какой-то форме). Теперь уже привычка к некоторым вещам незаметным образом так властно завладела мною, что нарушение ее представляется мне просто разгулом.

Следует руководствоваться разумными правилами, но не подчиняться им слепо — разве что тем, если такие существуют, рабская приверженность которым благодетельна.

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, складывается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и

грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существование наше невыносимо без этого смешения; тут необходимо звучание и той и другой струны. Пытаться восставать против естественной необходимости — значит проявлять то же безумие, что и Ктесифонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться.

Припомни людей древности, жаждавших, чтобы их постигали бедствия и они тем самым могли непрерывно упражняться в добродетели. Подумай и о том, что в этом случае сама природа поощряла твою вступлению в эту славную философскую школу, приверженцем которой ты никогда не стал бы по доброй воле.

Деятельность и бдительность — вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодежи. Жизнь наша в сплошном движении.

Нет занятия более привлекательного, чем военное дело. Благородно оно и в своем внешнем проявлении (ибо самая мощная, самоотверженная и блистательная добродетель — отвага), и в основе своей не существует дела более правого и более важного для всех, чем защита родины и охрана ее величия. Есть нечто веселящее сердце в обществе стольких молодых, деятельных, благородных людей, в том, что трагическое зрелище становится привычным, в свободной и безыскусственной беседе, в суровой простоте образа жизни и отношений между людьми, в пестром разнообразии того, что приходится делать, в порождающих отвагу звуках военной музыки, возбуждающие действующей и на слух, и на душу, в чести, связанной с воинской долей, и даже в жестоких тяготах этой доли, которую Платон ценит так мало, что в своем «Государстве» делает ее доступной даже женщинам и детям. Добровольно становясь солдатом, возлагаешь на себя те или иные задачи, подвергаешься тем или иным опасностям, смотря по тому, насколько все это на твой взгляд доблестно и значительно, и с полным основанием жертвуешь даже своей жизнью.

Страшиться опасностей, которым подвергается на войне столько людей, не отваживаться на то, на что отваживаются сердца столь различные, — значит проявлять крайнее, наименее малодушие. В сотовариществе с другими и дети проявляют мужество. Если кто-то превзошел тебя в знаниях, изяществе, силе, удачливости, можно ссылаться и на причины, от тебя не зависящие. Но если ты уступаешь себе подобным в твердости духа, то никого, кроме себя, обвинять не можешь.

Тот, кто способен стойко переносить тяготы нашего повседневного существования, не имеет нужды усиливать свое мужество, берясь за оружие.

Когда я был ребенком, взрослым приходилось всячески бороться с моим нежеланием есть именно то, что дети обычно лю-

бят: сласти, варенье, пирожные. Мой воспитатель старался отучить меня от этого отвращения к тонким яствам, как от своего рода утонченности. Но это и есть изысканность вкуса, в чем бы она ни проявлялась. Тот, кто борется с особенным, упорным пристрастием ребенка к черному хлебу, салу, чесноку, лишает его лакомства. Есть люди, которые хотят прослыть простыми и неприхотливыми, вздыхая о говядине и свином окороке, когда им подают куропаток. Пусть стараются: они-то и есть самые прихотливые, у них вкус настолько изнежен, что им уже не хочется того, что они могут иметь когда угодно, *per quae luxuria divitiarum taedio ludit**. Сущность этого порока в том и состоит, чтобы отказываться от изысканной пищи, потому что она есть у кого-то другого, чтобы придумывать для своего стола нечто необычайное:

*Si modica coenare times olus omne patella**.*

Тут, правда, есть та особенность, что лучше уж баловать себя вещами, которые легко достать, но любое баловство — порок. Я в свое время считал изнеженным одного из моих родственников, который, служа на наших галерах, разучился пользоваться обычными постелями и раздеваться для сна.

Если бы у меня были сыновья, я пожелал бы для них своей собственной доли. Добрый отец, которого дал мне Бог (и который от меня не получил ничего, кроме благодарности за свою доброту, но, правда, великой благодарности), почти из колыбели послал меня в одну из принадлежавших ему деревушек и держал меня там, пока мне нужна была кормилица, и даже еще дольше, приучая меня к самому простому и бедному образу жизни: *Magna pars libertatis est bene moratus venter****. Не берите на себя самих, а тем более не поручайте женам заботу о питании своих детей. Пусть они растут, как придется, подчиняясь общему для всех естественному закону, пусть они приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к легкой, чем обратно. Отец мой преследовал еще и другую цель: он хотел, чтобы я узнал народ, познакомился с участью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке, и полагал, что мне лучше глядеть туда, откуда ко мне протягивают руки, чем туда, где мне поворачивают спину. По той же причине он избрал в качестве моих восприимчивых у купели людей самого скромного звания, чтобы между ними и мной возникли тесные отношения и привязанность.

* Это забавы пресытившейся забавами роскоши (*лат.*). Сенека. Письма, 18, 7.

** Если ты боишься отведать овощи, поданные в простой миске (*лат.*). Гораций. Послания, I, 5, 2.

*** Довольствующийся немногим желудок освобождает от очень многого (*лат.*). Сенека. Письма, 123, 3.

В надеждах своих он не обманулся. Я люблю дружить с маленькими людьми — как потому, что в этом есть нравственная заслуга, так и по природной своей сострадательности, во многом руководящей мною. В наших гражданских распрях я склонен более резко осуждать партию победоносную и процветающую, и она сразу завоеует мое сочувствие, когда я увижу ее несчастной и угнетенной. Как по сердцу мне душевное благородство Хелониды, дочери и супруги спартанских царей! Когда во время разразившейся в их городе смуты муж Хелониды Клеомброт одержал верх над ее отцом Леонидом, она показала себя хорошей дочерью и разделила участь отца в его беде и в изгнании, противостоя победителю. Но когда переменилось счастье, изменилась и ее воля, и она мужественно приняла сторону своего супруга и сопровождала его всюду, куда его бросала злая судьба, считая, видимо, что единственный для нее правильный выбор — быть с тем, кому она больше нужна и кто больше нуждается в ее сострадании. Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нем нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.

Природа с материнской заботливостью устроила так, чтобы действия, которые она предписала нам для нашей пользы, доставляли нам также и удовольствие, чтобы к ним нас влек не только разум, но и желание; и неправильно было бы искажать ее закон.

Когда я убеждаюсь, что Цезарь и Александр в самом разгаре своей великой деятельности не ограничивали себя в наслаждениях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что они себя баловали, напротив, — я скажу, что они тем самым укрепляли свою душу, мужественным усилием воли подчиняя эту свою напряженную деятельность, свою пытливую мысль нуждам повседневной жизни. Они были мудрыми, если считали, что последнее является их обычной жизненной рутинной, а первое — призванием к делам чрезвычайным. Все мы — великие безумцы. «Он прожил в полной бездеятельности», — говорим мы. «Я сегодня ничего не совершил». Как? А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. «Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что способен». А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует? Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без нее. Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царство-

вать, накапливать богатства, строить — все это, самое большее, дополнения и довески. Мне приятно видеть, как полководец под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит совершить пролом, спокойно и с удовольствием предается трапезе и беседе с друзьями, как Брут, несмотря на то, что против него и римской свободы ополчились и земля и небо, отрывает у своего ночного бдения несколько часов, чтобы спокойно почитать Полибия и сделать из него выписки. Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из нее выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним.

Готовность развлечься и позабавиться весьма подобает, на мой взгляд, душам сильным и благородным и даже делает им честь. Эпаминонд не считал, что участвовать в пляске юношей его родного города, петь, играть на музыкальных инструментах и предаваться всему этому с увлечением — значит заниматься вещами, недостойными одержанных им побед и его высоких нравственных качеств. Среди стольких поразительных деяний Сципиона Старшего, человека, по мнению современников, достойного происходить от небожителей, особенную прелесть облику его придает склонность к забавам и развлечениям: приятно представить себе, как он с ребяческой радостью собирает ракушки и играет в рожки с Лелием на морском берегу, как в дурную погоду он пишет комедии, где с веселым лукавством изображаются самые распространенные и низменные свойства человеческой природы; как, занятый мыслями об африканских делах, о Ганнибале, он посещает школы Сицилии и просиживает на уроках философии так долго, что на этом оттачивает себе зубы слепая зависть его врагов в Риме. А в Сократе примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что время это отнюдь не потеряно даром.

Именно Сократ на глазах у всего греческого войска простоял в экстазе целый день и целую ночь, целиком охваченный и взволнованный какой-то глубокой мыслью. Первый среди стольких доблестных воинов, устремился он на помощь окруженному врагами Алкивиаду, прикрыл его своим телом и силой своего оружия оттеснил врагов. Первым среди всего афинского народа, возмущенного, как и он, недостойным зрелищем, попытался он спасти Ферамена, которого вели на казнь по приказу тридцати тиранов. И хотя ему помогали только два человека, он отказался от своей попытки лишь после того, как его попросил об этом сам Ферамен. Некая красавица, в которую он был влюблен, стремилась в его объятия, но обстоятельства сложились так, что ему надо было отказаться от счастья, и у него хватило на это сил. Все видели, как в битве при Делии он поднял и спас Ксенофонта, сброшенного с коня, как на войне он постоянно ходил босой по льду, одевался зимой так же, как летом, превосходил всех своих товарищей терпением в труде и на пирах ел ту же пищу, что в

обычное время. Всем известно, что двадцать семь лет он с невозмутимым выражением лица переносил голод, бедность, непослушание своих детей, злобный нрав жены и под конец клевету, угнетение, темницу, оковы и яд. Но если этого же человека призывали к учтивому состязанию с чашей в руках — кто кого перепьет, — ему первому во всем войске выпадала победа. Он не отказывался ни играть в орешки с детьми, ни забавляться вместе с ними деревянной лошадкой и делал это очень охотно. Ибо, учит нас философия, всякая деятельность подобает мудрецу и делает ему честь. Образ этого человека мы должны неустанно приводить как пример всех совершенств и добродетелей. Мало существует столь целокупных примеров ничем не запятнанной жизни, и ничуть не поучительны для нас постоянно предлагаемые нам другие примеры, нелепые, неудачные, ценные, может быть, какой-нибудь отдельной чертой, которые скорей лишь сбивают нас с толку и больше портят дело, чем помогают ему.

Народ ошибается: гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края указывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине, безразлично — природой ли она создана или настлана людьми. Но, конечно, в езде по обочинам меньше и благородства, и заслуги. Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подлинно великим именно достаточное и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью по вершинам. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить свое человеческое назначение. Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь.

Страдание, наслаждение, любовь, ненависть — вот первые ощущения, доступные ребенку. Если со вступлением разума в свои права эти чувства подчиняются ему, возникает то, что мы именуем добродетелью.

Есть у меня свой собственный словарь: время я провожу, когда оно неблагоприятно и тягостно. Когда же время благоприятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило, я хочу овладеть им, задержать его. Надо избегать дурного и утверждаться в хорошем. Этими обычными словами «времяпрепровождение» и «время проходит» обозначается поведение благоразумных людей, считающих, что от жизни можно ждать в лучшем случае, чтобы она текла, проходила мимо, что надо быть в стороне от нее и, насколько это возможно, не вникать ни во что, словом, бежать от жизни, как от чего-то докучного и презренного. Я знаю ее иной и считаю ценной и привлекательной даже на последнем отрезке, который сейчас прохожу. Природа даровала нам ее столь благосклонно обставленной, что нам приходится винить лишь самих

себя, если она для нас жестока и если она бесполезно протекает у нас между пальцами.

Действительно, умение достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны.

Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей.

В *Мы перевернули последнюю страницу, но не будем торопиться, ведь мудрость М.Монтеня так глубока, что хочется возвратиться к ее живительному истоку. Поэтому, дорогой читатель, обратись к следующей странице, и ты погрузишься в квинтэссенцию «Опытов» — «Афоризмы и максимы». К ним могут не раз обратиться и наш ученик, и его родители, и мы, педагоги, ища у Монтеня глубину и силу мысли, столь близкой нам по духу, питающей нашу душу и вселяющей надежду на гуманистическое начало всех действий и поступков человека. Не для всякого открываются сокровенные тайны человеческой природы. А вот Монтень осмелился и смог проникнуть в самое сокровенное — душу человека. Мы преклоняемся перед дерзновенной идеей великого гуманиста приоткрыть тайну своей души, своих мыслей, своего опыта, щедро одаряющего нас своими изысканиями и познаниями Человека, его сути.*

АФОРИЗМЫ И МАКСИМЫ

(Отбор и систематизация Н.В.Бордовской)

Воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его надвое.

С наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас; нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему.

Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: невелика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как же их вырастить и воспитать.

Где для детей польза, там же должно быть и удовольствие.

Натуры сильные и одаренные сохраняются во всей своей целостности, как бы ни коверкало их воспитание.

Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой.

У каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому.

Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Нужно, чтобы Бог пребывал в нашем сердце.

Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Наиважнейшая из наших способностей — это умение приспособливаться к самым различным обычаям.

Откажитесь от насилия и принуждения, это уродует и извращает натуру с хорошими задатками.

Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек.

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истиной, — ...потому, что это его собственный сын.

Отец и сын по свойствам своего характера могут быть весьма далеки друг от друга; то же и братья.

Некий отец, застигнутый скачущим верхом на палочке, когда он играл со своими детьми, попросил человека, заставшего его за этим занятием, воздержаться от суждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом: когда в его душе пробудится отцовское чувство, он сможет более здраво и справедливо судить о его поведении.

Я убежден, что если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой.

Безрассудно и нелепо со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близкие отношения и принимать в общении с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении.

Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем.

Есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы для собственной совести и для здравого смысла?

Ценность и возвышенность истинной добродетели определяется легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения.

Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи.

Неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей.

Вложенная в родителей самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность.

Нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создает для нас большие неудобства.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение.

Авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от вмешательства родителей.

Мы возлагаем слишком большие надежды на способности наших детей.

Силошь и рядом видишь, что мать особенно привязывается к детям, более слабым и обиженным природой, или к тем, которые еще сидят у родителей на шее.

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами.

Достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем наше потомство.

Наши духовные творения — это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие.

Чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится.

Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору.

Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем.

Величие души раскрывается не в великом, но в повседневном.

Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения.

Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной.

Нужно приучить душу не поддаваться несчастьям и брать верх над ними.

Я нахожу, что души возвышенные не меньше способны на низменные дела, чем низкие — на возвышенные.

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, кроме этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной.

Недостаточно закалять душу ребенка; столь же необходимо закалять и его тело.

Даже чьи-либо глупость и недостатки содержат в себе нечто поучительное.

Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитывает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным.

Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость, внешность ученика совершенствовались вместе с его душою.

Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам.

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе.

В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, нельзя добиться и силой.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти, то нам следует разумно сделать для них все, что в нашей власти.

Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахарить, а к вредным примешивать желчь.

Если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже, при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным.

Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков.

Алмазу придает достоинство спрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемые лишения, лекарству — горечь.

Глупостью было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от ее посягательств.

Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения — тяготой для человека изнеженного и праздного.

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию.

Надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше.

Важно не только то, что мы видим, но и как мы его видим.

Обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка и не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри.

Обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы.

Пробудите охоту к занятиям.

И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

К чему наука, если нет разумения.

Наука, которая не смогла проникнуть в душу, осталась на кончике языка.

Наука пригодна лишь для сильных умов; а они весьма редки.

К чему наука тому, у кого больше нет головы?

Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет.

Когда наукой пользуются, как должно, это самое благородное и великое из достижений рода человеческого.

Мир наш — только школа, где мы учимся познавать.

Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании.

Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано.

Любой человек может сказать нечто, соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие.

Наша ученость состоит только в том, что мы знаем в это мгновение; наши прошлые знания, а тем более будущие тут ни при чем.

Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким.

Наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой.

Сколько бы новых суждений и взглядов у нас ни вырабатывалось, жизнь породит еще большее разнообразие явлений.

Природа всегда рождает законы гораздо более справедливые, чем те, которые придумываем мы.

От множества толкований истина как бы раздробляется и рассеивается.

Никогда не бывает, чтобы два человека одинаково судили об одной и той же вещи, и двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить не только у двух разных людей, но и у одного и того же человека в разное время.

Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен.

Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости.

Разве самая первая и самая славная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и последняя цель обучения наукам?

Знания представляются мне менее ценными, нежели ум.

Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится.

Творение человека, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел оснований на то рассчитывать по своим знаниям и способностям, может оказаться значительней, чем он сам.

Я не веду счета моим заимствованиям, а отбираю и взвешиваю их.

Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что мы неспособны рассуждать здраво.

Признаваться в незнании, на мой взгляд, одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума.

Я знаю, как дорого обходится знание.

Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память, и без нее наш ум почти бессилен.

Память есть склад и вместилище знаний.

Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, в которой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности.

Истинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, что бы то ни было.

Чего можно ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей?

До чего тонкое дело установление истины.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно.

Нам не нужно вовсе далеко ходить в поисках необычайных явлений и чудес: по-моему, среди вещей, наблюдаемых нами повседневно, встречаются настолько непонятные, что они не уступят никаким чудесам.

Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии.

Я признаюсь в истине, когда она мне во вред, ничуть не меньше, чем когда она мне на пользу.

Все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик, — а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии, — примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума.

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?

Учению могут быть отданы лишь первые пятнадцать-шестнадцать лет жизни, а остальное предназначено деятельности.

Антисфен ответил спросившему его, чему лучше всего научиться: «Отучиться от зла».

Пусть юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь.

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарбарском наречии, а если он немой, то с помощью мимики.

В конце ли, в начале ли речи, полезное изречение или меткое словцо всегда уместно.

Словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот.

Красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей.

Напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов.

Подражание чужой речи в силу его доступности — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко.

Знания — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться.

Дело не в том, чтобы прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней; не в том, чтобы окропить ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь.

Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Аристон говорил, что и баня и урок — бесполезны, если они не смывают грязи и после них человек не становится чище.

Человеческое благоразумие еще никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало.

Опыт нашего времени так же плодотворен, как опыт времен Гомера и Платона.

Отношения, познающиеся из опыта, всегда не вполне достоверны и совершенны, и однако же сравнению всегда есть за что уцепиться.

Следует руководствоваться разумными правилами, но не подчиняться им слепо.

Если какому-нибудь занятию не хотят уделить и часа, это значит, что ему вообще ничего не хотят уделить.

Знать наизусть еще вовсе не значит знать; это — только держать в памяти то, что ей дали на хранение.

Что знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не заглядывая в книгу.

Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.

Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточно взяться за чтение.

Читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает это время в бездействии, расслабляется и поникает.

Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость!

У кого тощее тело, тот нацепляет на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности.

Неразумно считать, будто разум человеческий может заменить судьбу.

Люди большей частью богаты чужой мудростью.

Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться.

Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность.

Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим.

Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту.

Неукротимость воображения — вот что возвышает и украшает речь.

Души обыденные и грубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении.

После того как юноше разъяснят, что же собственно ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и какую бы из этих наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже развит, — он быстро достигнет в ней успехов.

Многие наставники хотят образовать наш ум, не будоража его.

Вследствие ошибки в выборе правильного пути зачастую тратят даром труд и время на натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить.

Способность спизойти до влечений ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной.

Если учителя просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе, и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни.

Безграничная власть учителя чревата опасными последствиями.

Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует.

Если не приучить к иностранной речи свой язык смолоду, то потом уж никак ее не усвоить.

Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады.

Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его даже ценой жизни.

Похвала всегда и везде приятна, откуда б она ни исходила и что бы ее ни вызывало, но чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно знать, чем она вызвана.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени.

Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю.

Нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка.

Привычка способствует притуплению наших чувств.

Привычка притупляет остроту наших суждений.

Именно привычка сообщает нашей жизни ту форму, какая ей заблагорассудится.

Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему, беседа.

Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит и упражняет.

Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опопшляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными.

Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям.

Умы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам.

И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные движения языка придавили мир столь ужасающей грудой томов?

Мы обладаем душой, способной общаться с собой.

В любом государстве утонченность умов никоим образом не равнозначна их умудренности.

Добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености.

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред.

Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает.

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания.

Я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны.

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе.

Чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше удивляюсь своей бесформенности, тем меньше разбираюсь, что же я, собственно, такое.

Доволен не тот, кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым.

Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами?

Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами, ни на себе, ни на другом.

Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы.

Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной.

Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного.

Пороком является неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь.

Меня раздражает всякое вдалбливание даже в тех случаях, когда оно касается вещей безусловно полезных.

Величайшее несчастье ощущать вечный гнет даже у себя дома, в лоне своей семьи.

Часто по глупости надевают на себя короткий камзол, чтобы прыгнуть не лучше, чем в обычном плаще.

Нередко мы исправляем себя столь же нелепо, как исправляем других.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать чужие в себе.

Рассказывая про себя, поступаешь в ущерб себе: самообвинениям твоим всегда охотно верят, самовосхвалениям — никогда.

Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя.

Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом.

Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что, хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе.

Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делают ли они вслух или про себя.

Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступать от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, это значит быть рабом самого себя.

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания.

Я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседающая душа.

Вместо того чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить напоказ себя.

Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость.

Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто осознает все великое множество присущих ему несовершенств и слабостей.

Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?

Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении.

Ежедневно и ежечасно мы говорим о других людях то, что мы скорее сказали бы о себе, если бы умели так же строго судить себя, как судим другим.

Я открываюсь моим близким, насколько могу; с большой готовностью я выражаю им свое расположение и высказываю свое суждение о них, так же я делаю это по отношению ко всякому человеку.

Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставять себя напоказ.

Мы ведь дорожим своим бытием, а бытие состоит в движении и действии, так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в свое творение.

Ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба.

Давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути.

Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы слушать расточаемые тебе похвалы.

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе.

Нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого.

И сколько только обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы!

Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершит большой подвиг?

Мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят.

Что до меня, то я крепко держусь за себя самого.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других.

Самовосхваление и самоуничижение часто бывают порождены одною и той же гордыней.

Мне кажется, что корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе.

Я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе.

Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые.

Я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всем, чего не боюсь делать.

Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать.

Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них.

До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собой таящийся под нею порок.

Мы всегда говорим друг с другом о наших самых насущных нуждах.

Самоуверенность и упрямство — явные признаки глупости.

Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные суждения о себе.

У того, кто хочет познать чужую душу, должны быть три свойства: понимание, благожелательность и смелость.

Из всех людей именно облеченные властью более всего нуждаются в правдивом и свободном слове.

Я был бы более рад, если бы люди расточали мне меньше похвал, но знали меня лучше и основательнее.

Обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой.

Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы.

Самой прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей.

Уменье достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное.

И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду.

Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны.

Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя.

Мы легко одолеем внешние недостатки, если победим внутренние.

Я ненавижу приводить себя в порядок наполовину.

Лучше всего подготовить себя заранее, не дожидаясь, когда в этом окажется надобность.

Кто не дрожит над своими почестями и не находится у них в рабстве, тот не перестанет жить в свое удовольствие и после того, как их потеряет.

Приверженность к малым делам отвлекает нас от насущно необходимых.

Свою свободу следует ревниво оберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга.

Нет глупости больше, назойливее и диковиннее, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг.

Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению.

Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него все возможные доводы и выводы.

В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз.

Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные.

Весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу.

Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.

Только безнадежно дурной человек может относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию.

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.

Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для нашего разума, но и для совести.

Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как надо?

Всякий избегает присутствовать при рождении человека, и всякий торопится посмотреть на его смерть.

И в делах любви, и в изображении их должна быть легкая примесь мошенничества.

Кто говорит все без утайки, тот насыщает нас до отвала.

Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем выше и почетнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней.

Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая.

Счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга.

Если кто-то превзошел тебя в знаниях, изяществе, силе, удачливости, можно ссылаться и на причины, от тебя не зависящие. Но если ты уступаешь себе подобным в твердости духа, то никого, кроме себя, обвинять не можешь.

Тот, кто способен стойко переносить тяготы нашего повседневного существования, не имеет нужды усиливать свое мужество, берясь за оружие.

В снах хорошо проявляются наши склонности.

Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной.

Добродетель довольствуется собой.

Мне кажется, что добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру.

Ведь не случайно мы называем Бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринужденны и совершаются без всяких усилий.

Люди невинные, но и не добродетельные не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро.

Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им.

Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу.

Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно.

Другие видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей.

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного.

Лишь немногие вызвали восхищение своих близких.

Как показывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве.

Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значу в глазах знающих обо мне.

Когда судят об отдельном поступке, то, прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание всю сущность человека, который совершил его.

Если бы мы шли прямым путем к совершенству, старость была бы и лучшей порой человеческой жизни.

Даже недостатки находят себе поклонников.

Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар. Вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить.

Поступки, которых не озаряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни удовольствия.

По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их скорее подчеркивает.

Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли.

Если давать — удел властвующего и гордого, то принимать — удел подчиненного.

Честолюбие несовместимо с уединением.

Бывает ложное смирение, порожаемое высокомерием.

Слава и покой не могут ужиться под одной крышей.

Кто по застенчивости или из ложного стыда чрезмерно податлив и с легкостью обещает все, о чем его ни попросят, тот с такою же легкостью нарушает слово и от него отказывается.

Всякая деятельность на общественном поприще подвергается крайне противоречивому и произвольному истолкованию, потому что о ней судит слишком много голов.

Честолюбие — порок не для мелких людишек.

Слава не покупается по дешевке.

Молва не следует по пятам за всяким хорошим поступком, если с ним не сопряжены трудности и он не выделяется своей исключительностью.

Даже простого уважения заслуживают далеко не все добросовестные поступки.

Наши наслаждения под стать нашей судьбе.

Давайте научимся жаждать не большей славы, чем та, что для нас достижима.

И чем больше шума поднимают вокруг того или иного хорошего дела, тем меньшего оно стоит в моих глазах, так как во мне рождается подозрение, что оно совершено скорее ради того, чтобы вокруг него поднялся шум, чем из-за того, что оно хорошее: выставленное напоказ, оно уже наполовину оплачено.

Воздерживаться от действий — подчас столь же благородно, как действовать, но такое поведение менее на виду.

Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие.

За тщеславие нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой страстью, она заставляет быть всегда на виду.

Благородное твердо и постоянно.

Полезное легко утрачивается и исчезает.

Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие.

Существуют различные наслаждения — разумные, захватывающие и приносящие славу.

Пороки, которые не идут дальше мыслей, — не из числа наихудших.

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого.

Если для кого-либо делают что-нибудь попутно и между прочим, это значит, что для него вообще ничего не делают.

В благодеянии тем меньше истинного великодушия и благородства, чем больше вероятность, что оно будет возмещено.

Никто не раздает всех своих денег другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, в чем бы мы были настолько же расточительны и в чем скупость была бы полезнее и похвальнее.

Для живописца или другого художника, или даже ритора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями; но деяния доблести и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности.

Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистою совестью.

Доброта прекраснее и привлекательнее, когда она — редкость.

Бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений, которыми связывают нас соседство или общность крови.

Наслаждение и обладание опираются главным образом на воображение.

В истинной дружбе я отдаю моему другу больше, чем беру у него.

Жажда непосредственной близости говорит о недостатке способности к духовному общению.

Жаловаться всегда — значит никогда не встречать отклика на свои жалобы.

Благородно и независимо высказанное признание ослабляет силу упрека и выбивает оружие из рук оскорбителя.

Преклонному возрасту под стать одиночество.

Порядочный человек — человек разносторонний.

Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово.

Продолжительная дружба с временем не обходится без какого-либо подарка.

Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира.

Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжелой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых!

Успехом может увенчаться самое неосмысленное поведение.

Глупость и разброд в чувствах — не такая вещь, которую можно исправить одним добрым советом.

Упрямство и чрезмерный пыл в спорах — вернейший признак глупости.

Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой, и давать труднее, чем брать.

И по природе своей, и по велению разума я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков.

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

Существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения.

Люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям.

Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума.

Упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства, присущие чаще всего наиболее низменным душам.

Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье несовместимо с чистой совестью.

Тьма крошечных неприятностей досаждают сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни оказалась.

Красота — великая сила в общении между людьми.

Красота всех частей тела нужна женщине, но красота стана — единственная, необходимая мужчине.

Самое большое уродство в моих глазах — это красота поддельная и достигнутая насилием над природой.

Люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и поровистой лошади.

Нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Нет худа без добра!

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой.

Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит.

Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранит незапятнанным хотя бы имя.

Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишь изредка тех, с кем мне приятно общаться.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке.

В делах человеческих к чему бы мы ни склонялись, мы найдем множество доводов в пользу всякого мнения.

Особенно дела политические предоставляют широкий простор для всяких столкновений и раздоров.

На тот или иной довод всегда найдется где почерпнуть ответный довод, на возражение — новое возражение.

Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказывает безусловного и неукоснительного повиновения.

Мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца.

То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится.

Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто ее видит в себе.

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее.

Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение.

Наша жизнь складывается частью из безрассудных, частью из благоразумных поступков.

Ведь не всегда идешь одной и той же походкой.

Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой — дело нетрудное.

Говорят, что если не всякая долгая жизнь — хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть — хорошая смерть.

Пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им.

Лучшее наше творение — жить согласно разуму.

Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремиться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия.

Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь.

Здорово смотреть на хорошее помогает и здраво рассматривать дурное.

Страдание, наслаждение, любовь, ненависть — вот первые ощущения, доступные ребенку.

Удовольствие — одно из главных видов пользы.

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать.

Ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь.

В жизни и хорошему, и дурному положен определенный срок.

В сотовариществе с другими и дети проявляют мужество.

Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими.

Наиболее достойная деятельность — это служить обществу и приносить пользу многим.

Мы живем в мире, где честность даже в собственных детях — вещь неслыханная.

Во всех наших превратностях мы обращаем взоры к тому, что над нами, и смотрим на тех, кому лучше, чем нам.

Кто может срывать цветы удовольствия, ничего не давая взамен, в том нет ни капли благородства.

По мне, лучше вовсе не жить, чем жить подаянием.

Весь мир — это вечные качели.

Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее.

Я полагаю, что надо избегать таких наслаждений, которые влекут за собой еще большие страдания, и принимать с готовностью страдания, несущие за собой несравненно большие наслаждения.

Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унижительной.

Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели.

Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями.

Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни.

Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд?

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н.В.Бордовская. Монтень о человеке, его познании и самопознании, воспитании и обучении.</i>	
Он не учит, а рассказывает о себе	5
КНИГА ПЕРВАЯ	21
Глава 1	
Различными средствами можно достичь одного и того же ...	21
Глава 14	
О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них	24
Глава 20	
О том, что философствовать — это значит учиться умирать ..	41
Глава 23	
О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы	58
Глава 25	
О педантизме	61
Глава 26	
О воспитании детей	73
Глава 28	
О дружбе	102
Глава 30	
Об умеренности	103
Глава 39	
Об уединении	103
КНИГА ВТОРАЯ	110
Глава 6	
Об упражнении	110
Глава 8	
О родительской любви	112
Глава 10	
О книгах	121
Глава 11	
О жестокости	125
Глава 16	
О славе	134

Глава 17	
О самомнении	137
Глава 18	
Об изобличении во лжи	148
КНИГА ТРЕТЬЯ	151
Глава 2	
О раскаянии	151
Глава 3	
О трех видах общения	156
Глава 5	
О стихах Вергилия	161
Глава 8	
Об искусстве беседы	162
Глава 9	
О суетности	175
Глава 10	
О том, что нужно владеть своей волей	176
Глава 13	
Об опыте	185
АФОРИЗМЫ И МАКСИМЫ	196

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

МОНТЕНЬ

Составитель и автор предисловия
Нина Валентиновна Бордовская

Первый читатель
Светлана Александровна Филатова

Набор и верстка
Ирина Сергеевна Калиничева

Редакционно-издательская подготовка,
оформление и макет
Издательского Дома Шалвы Амонашвили

Лицензия ИД № 02878 от 20.10.2001 г.
Подписано к печати 12.11.2001. Формат 60×90^{1/16}.
Усл. печ. л. 14. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Заказ № 1700.

Издательский Дом Шалвы Амонашвили
МГПУ лаборатория гуманной педагогики
113184, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16
Тел.: (095) 959-55-54 доб. 121, 120

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ордена «Знак Почета» Смоленской
областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.
Тел.: 3-01-60; 3-46-20; 3-46-05.

ISBN 5-89147-035-7



9 785891 470354

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

В “Антологии”

используется ранее
не применявшийся
в практике Российского
учебного книгоиздания
прием фокусирования
на страницах книги
не всегда совпадающих
позиций —

автора классического
наследия;

составителя тома, ученого,

излагающего свои взгляды

во вступительной статье

и комментариях,

и первого читателя,

учителя, сегодня смотрящего

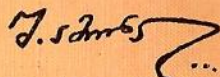
в глаза своим ученикам,

призванного сегодня

реализовывать **идеи**

гуманной педагогики.

Скептицизм не есть лучший
способ поиска истины, но
в творчестве Монтеня он,
как волшебная лампа,
высвечивает многие
недостатки средневекового
духовенства, общественного
обустройства и образования,
предупреждая человечество
от повторения ошибок...



Шалва Амонашвили